

П. И. МЕЛЬНИКОВ
(АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ)



Annotation

Встречи с произведениями подлинного искусства никогда не бывают скоропроходящими: все, что написано настоящим художником, приковывает наше воображение, мы удивляемся широте познаний писателя, глубине его понимания жизни.

П. И. Мельников-Печерский принадлежит к числу таких писателей. В главных его произведениях господствует своеобразный тон простодушной непосредственности, заставляющий читателя самого догадываться о том, что же он хотел сказать, заставляющий думать и переживать.

Мельников П. И. (Андрей Печерский)
Собрание сочинений в 8 т.
М., Правда, 1976. (Библиотека "Огонек").
Том 1, с. 3–52.

-
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [notes](#)
 - [Note1](#)
 - [Note2](#)
 - [Note3](#)
 - [Note4](#)
 - [Note5](#)
 - [Note6](#)
 - [Note7](#)
 - [Note8](#)
 - [Note9](#)

- [Note10](#)
- [Note11](#)
- [Note12](#)
- [Note13](#)
- [Note14](#)
- [Note15](#)
- [Note16](#)
- [Note17](#)
- [Note18](#)
- [Note19](#)
- [Note20](#)
- [Note21](#)



Встречи с произведениями подлинного искусства никогда не бывают скоропреходящими: рассказ, повесть, роман, поэма, лирическое стихотворение — словом, все, что написано настоящим художником, поначалу приковывает наше внимание своей жизненной непосредственностью: вымышленные герои живут в нашем воображении, мы судим об их поступках и мыслях, грустим и радуемся, сочувствуем и негодуем. Но вот перевернута последняя страница книги, мы возвращаемся к повседневным нашим делам и заботам; но люди и события, о которых мы узнали при чтении, не перестают волновать нас. Вспоминать о полюбившихся образах — это едва ли не самое прекрасное в нашем общении с миром литературы. И не только потому, что тут

мы заново переживаем первые впечатления; с этими воспоминаниями наступает черед неторопливых раздумий обо всем, что образует коренные основы нашего бытия в мире — о смысле и тайнах человеческих отношений, о бесконечном многообразии жизни, о вечном ее обновлении, о силе зла, о неисчерпаемости и нетленности прекрасного на земле... При этом рано или поздно, так или иначе, но неизбежно возникает мысль о писателе, который своим искусством возвысил наши чувства и обогатил наш разум.

Читая выдающиеся произведения литературы, мы не можем не удивляться широте познаний писателя, глубине его понимания жизни. Он представляется нам человеком незаурядного ума и богатейшего жизненного опыта. И не удивительно, что в наших глазах сам писатель становится героем в подлинном смысле этого слова. Потому-то, между прочим, мы и хотели бы знать о нем как можно больше.

Крупные писатели отличаются от заурядных, в частности, и тем, что они не навязывают своих мнений, а больше всего заботятся о том, чтобы возбудить самостоятельную мысль читателя и направить ее по тому пути, который они считают верным. Может быть, именно поэтому, как бы ни восхищались мы тем или иным писателем, мы спорим с ним и недоумеваем, как это он при его проницательности порою не понимал самоочевиднейших, по нашим понятиям, вещей. Желание узнать писателя как личность еще больше усиливается.

Естественнее всего, конечно, искать его черты в том, что он создал, то есть в его произведениях. Ведь в конце концов, как и о всяком человеке, о писателе судят по его делам, а слова поэта, говорил Пушкин, — это и есть его дело. Однако очень часто личность писателя по разным причинам запечатлевается в его творчестве в таких сложных, а иногда, кажется, даже в преднамеренно завуалированных формах, что бывает чрезвычайно трудно более или менее отчетливо представить себе ее конкретные очертания. И в этих случаях просто необходимо заглянуть за страницы книги и узнать, какова была жизнь писателя, потому что только в ней можно найти источники всех тех качеств, которые удивляют, радуют, озадачивают, а порою и огорчают нас в его произведениях.

П. И. Мельников-Печерский был как раз из числа наиболее «скрытных» писателей. В главных его произведениях господствует своеобразный тон простодушной непосредственности. Мельников как будто бы все время напоминает своему читателю: вот я нарисовал картину жизни, и ты сам суди о ее смысле; а что касается меня, автора, то я, по-видимому, не могу сказать больше

того, что сказал, потому что сказал все. Но, читая его книги, мы то и дело замечаем, что он чего-то не договаривает. И не всегда понятно: то ли он в этих случаях не знает, что сказать, то ли по каким-то не совсем ясным причинам не хочет говорить с окончательной определенностью.

А иногда, напротив, Мельников с какой-то нарочитой прямолинейностью высказывает такие мысли, которые явно противоречат всему образному строю его произведений. И то и другое — это нечто вроде помех, врывающихся в уверенное звучание его рассказа. Все это свидетельствует о том, что он «скрытничал» не от одной только скромности, что за этим были и другие причины. Какие? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо присмотреться к его жизни.

Павел Иванович Мельников родился 25 октября 1818 года (ст. стиля) в Нижнем Новгороде в семье офицера местного гарнизона Ивана Ивановича Мельникова. Отец писателя принадлежал к старинному, но захудалому дворянскому роду. Учившийся, как говорили тогда, на медные деньги, он с юношеских лет начал тянуть чиновничью лямку — и не ради получения следующего чина, как большинство молодых дворян того времени, а для жалованья. Из статской службы Иван Иванович перешел в земское войско, а оттуда в 1813 году — в действующую армию, в составе которой участвовал в заграничном походе 1813–1814 годов. После окончания войны он был переведен в нижегородский гарнизон. Женившись и получив за женой небольшое имение, Иван Иванович вскоре после рождения первенца (будущего писателя) вышел в отставку и определился служить по дворянским выборам — сперва в небольшом городке Нижегородской губернии Лукоянове, а позднее — в Семенове — одном из уездных городов того самого нижегородского заволжья, где происходит действие крупнейших произведений Мельникова-Печерского — «В лесах» и «На горах».

На службе — и на военной и на статской — Иван Иванович не отличался теми «добродетелями», благодаря которым тогдашние офицеры и чиновники беспорочно сколачивали кругленькие состояния.

В доме Мельниковых была обстановка, характерная для малосостоятельных дворянских семей. Тут не было ни гувернеров, ни учителей, получающих большое содержание. Будущий писатель рос в окружении людей из народа, с самого раннего детства незаметно привыкая к народной речи, узнавая народные обычаи и нравы. Воспитанием и первоначальным обучением детей занималась мать писателя — Анна Павловна. В молодости она получила скудное образование, но потом много и с увлечением читала и эту свою страсть передала старшему сыну.

В 1829 году Мельников был определен в нижегородскую мужскую гимназию. Он учился в одну из самых мрачных эпох в жизни русского общества. После восстания декабристов правящие круги России всеми средствами стремились подавить подлинное просвещение, которое коноводы реакции считали источником всякой крамолы. С неумной жестокостью правительство Николая I преследовало все, что заключало в себе хотя бы малейшие признаки живой мысли. В гимназическом преподавании насаждался схоластический шаблон и бессмысленная,

отупляющая зубрежка; розга и карцер были главными средствами «воспитательного» воздействия. Нижегородская гимназия в этом смысле не составляла исключения. Мельников в своих воспоминаниях рассказал весьма характерный для обстановки тех лет эпизод. Вместе с одноклассниками он решил устроить свой театр. С увлечением разучивали они и декламировали популярные пьесы тогдашнего репертуара. Но об этих невинных занятиях учеников узнало учебное начальство. Наказание последовало немедленно. «Драматическую труппу под присмотром солдат отправили к директору... С нами расправились по тогдашнему обычаю довольно круто... Из ребяческой нашей шалости сумели раздуть страшную историю. В городе рассказывали вещи несодеянные, будто мы, одиннадцати и двенадцатилетние мальчики, составили опасный заговор для ниспровержения существующего порядка. Одна нижегородская барыня... поехала в это время в Казань и там стала рассказывать о нашем злоумышлении. Из учебного округа предписано было разобрать дело как можно строже, и с нами в другой раз распорядились круто. Всего замечательнее то, что раздувал эту историю учитель словесности...».^[1]

Случай, о котором рассказал в своих воспоминаниях Мельников, показателен. Двенадцатилетние любители театра, конечно, никаких крамольных целей не преследовали, но чиновники от педагогики знали, что делали: детей запугивали, внушая им растлевающий душу страх перед «политикой». Однако наказанные не образумились. Они стали действовать более осторожно и осмотрительно, перенеся свои представления в другое место — недоступное для гимназических надсмотрщиков. В этом их «упрямстве» сказалось недвусмысленное осуждение школьной рутины, хотя сами они, может быть, так и не думали. Для Мельникова увлечение театром имело еще и особое значение: тут впервые обнаружилась его художественная одаренность. В драматической труппе он был не только актером, но и автором.

Мельников вспоминал добрым словом только одного гимназического учителя — словесника Александра Васильевича Савельева, пришедшего на смену учителю-рутинеру, отличавшемуся доносительскими «доблестями». В отношениях Савельева с гимназистами-старшеклассниками не было той отпугивающей казенной непроницаемости, которая была свойственна большинству тогдашних преподавателей. В классе он читал Пушкина, Дельвига, Баратынского, давал своим ученикам произведения этих поэтов на дом.

В 1834 году Мельников поступил на словесный факультет Казанского университета. Мельников был студентом в ту пору, когда над университетами тяготел строжайший жандармский надзор, когда самые дикие расправы над студентами, заподозренными в склонности к вольнодумству, были будничным явлением. Но как ни старались подручные Николая I, искоренить ненавистное им университетское вольнодумство они так и не смогли. Как раз в последекабрьские годы из студенческой среды вышла целая когорта деятелей русского освободительного движения и передовой русской культуры во главе с Белинским и Герценом.

Казанский университет в то время переживал своеобразную полосу своей истории. Ректором тогда был великий математик Н. И. Лобачевский. Не жалея сил, стремился он укрепить научный авторитет университета. Но во всей университетской жизни еще давали себя знать отголоски той поры, когда попечителем Казанского учебного округа был мракобес, доносчик и казнокрад Магницкий. На словесном и юридическом факультетах подвизались еще профессора, которых Магницкий набирал, обращая внимание не столько на их познания в той или иной научной области, сколько на то, тверд ли в православии претендент на должность. Преемник Магницкого на попечительском посту Мусин-Пушкин не отличался мракобесной ретивостью своего предшественника, но и он, исполнительный вельможа николаевского царствования, предпочитал иметь дело не с подлинными учеными, а с послушными чиновниками от науки.

С благоговением готовился Мельников переступить университетский порог. Однако в первый же день занятий его постигло глубокое разочарование: профессор читал свою лекцию «по Кошанскому» — тому самому, который был уже известен по гимназическому зубрению. Многих первокурсников такое открытие надолго, если не на все время университетского учения, сбивало с толку: они убеждали себя, что заниматься нет никакой надобности, добывали у старшекурсников многолетней давности записи лекций и по ним благополучно сдавали экзамены. Мельников не поддался этому соблазну; только образование могло дать ему какое-то место в жизни: ни сильных связей, ни обширных поместий у его семьи не было. Но, разумеется, его усердные занятия науками стимулировались не только этими прозаическими соображениями.

С детства приобретенная страсть к чтению еще в гимназии помогала ему хоть немного отдыхать от зубрежки и приучала к самодеятельности. Читал он преимущественно книги по истории. К счастью, в университете нашлись преподаватели, лекции которых поддержали и оживили интерес Мельникова к исторической науке.

Серьезнее и систематичнее занимался теперь Мельников и литературой. В те мрачные годы литература буквально спасала наиболее чутких студентов от иссушающего влияния николаевской казенщины. Но, конечно, не та литература, о которой тогда было разрешено говорить с кафедры, не «красоты» сумароковских трагедий или поэм Хераскова привлекали внимание молодежи, а новая литература, во главе которой стоял Пушкин.

Лекции по русской словесности в университете читал профессор Г. С. Суровцов. Ученый старой школы, он весь свой курс основывал на идеях Аристотеля и Горация, истолкованных в классицистском духе. К счастью, Суровцов вопреки обветшалым эстетическим догмам высоко ценил Пушкина и часто читал с кафедры его произведения, скромно признаваясь, что время для их всестороннего анализа еще не пришло. По-видимому, он понимал, какое значение имел Пушкин в духовной жизни молодежи. Весьма показательно в этом смысле его отношение к известию о гибели Пушкина. «В пятницу, 5 февраля 1837 года, в 8 часов утра, — рассказывает Мельников в своих воспоминаниях, — на третьем курсе словесного факультета была лекция русской словесности... Григорий Степанович взшел на кафедру и, не садясь, вынул из кармана газетный листок, помнится, «Русского инвалида», поднял его кверху и, окинув быстрым взглядом аудиторию, громко сказал: «Встаньте!» Мы встали, с изумлением глядя на профессора. Дрожащим от волнения голосом, в котором слышались горькие, задушевные слезы, он прочел известие — всего несколько строк. Живо помню первые слова его: «Солнце нашей поэзии закатилось — нет более Пушкина!» Аудитория ахнула в один голос, послышались рыдания... Сам профессор сел и, склонив на кафедру седую, как серебро, голову, громко заплакал... Прошло несколько минут, он встал и сказал: «Князь русских поэтов во гробе. Его тело везут из Петербурга куда-то далеко. Быть может, оно еще не предано земле. При незакрытом еще гробе Пушкина как сметь говорить о русской словесности! Лекции не будет...»

Прошло более двух месяцев. После поста, когда мы готовились к выпускному экзамену, на одной из последних лекций Суровцов принес известное стихотворение тогда еще

безвестного Лермонтова и прочел его нам. Кончив, он сказал: «Говорят, это написал кто-то из молодых, Лермонтов какой-то... Какой стих! Какая сила! Какая смелость оборотов!.. Нет, это не Лермонтов, это сам Пушкин из гроба послал свой ропот на раннюю и ужасную кончину свою».

Говорили потом, — продолжает Мельников, — что Суровцову за его увлечение и особенно за прочтение стихов Лермонтова был сильный нагоняй от Мусина-Пушкина...».[2]

В этом горе, до боли сжавшем молодые сердца, была не только любовь к Пушкину — несравненному художнику.

Творчество Пушкина произвело коренной переворот в художественных взглядах всего русского общества. Но ведь художественные вкусы любого человека в конечном счете тесно связаны с его общественными симпатиями и убеждениями. У Пушкина при его жизни было много почитателей и друзей, но ни у одного из современных ему литераторов не было столько явных и тайных недоброжелателей. И самое характерное в этом расхождении заключалось в том, что оно почти полностью совпадало с расхождениями в общественно-политической борьбе. За единичными исключениями, все сознательные противники Пушкина так или иначе были связаны с самодержавно-крепостнической реакцией. В последекабрьские годы ее литературные прислужники всячески старались опорочить Пушкина в глазах передовых людей. Но сколько ни подновляли сплетню о «примирении» великого поэта с царем, сколько ни кричали об «аристократических» пристрастиях Пушкина, его творчество говорило само за себя. Все, кто мечтал о свободной жизни, были на стороне Пушкина. В те годы было бы вполне справедливо известное, несколько измененное изречение: скажи мне, как ты относишься к Пушкину, и я скажу, какова твоя общественно-политическая позиция. Для лучших людей этого времени художественное совершенство его поэзии само по себе было одним из проявлений духовных сил нации; его творчество всей своей сущностью противостояло бесчеловечному строю насилия и угнетения, внушало веру в победу свободы и подлинной человечности. «Только звонкая и широкая песнь Пушкина, — писал Герцен, — раздавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, полнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее. Поэзия Пушкина была залогом и утешением».[3]

Из рассказа Мельникова ясно видно, что смерть Пушкина была воспринята казанскими студентами как огромное

национальное бедствие. Обстоятельства гибели великого поэта им, конечно, не были известны, но сообщения о его смерти были так туманны, что невольно возникала мысль о его врагах. Стихотворение Лермонтова, обличавшее убийц Пушкина, подтвердило тревожные предчувствия.

Творчество Пушкина было той школой, в которой начали вырабатываться художественные вкусы Мельникова; в этой школе началось и его гражданское самоопределение.

Мельников был одним из лучших студентов своего курса. После окончания университета он был оставлен на факультете для подготовки к профессорству. Предполагалось, что с целью совершенствования знаний он должен совершить заграничную поездку. Однако этим планам не суждено было осуществиться. Произошло нечто такое, о чем и сам Мельников говорил неохотно и его биографы обыкновенно ограничивались неясными намеками. Известно только, что на одной из студенческих вечеринок Мельников вел себя, по мнению университетского начальства, получившего соответствующий донос, весьма предосудительно. О характере «преступления» можно судить по тому, какое последовало наказание: заграничная поездка была отменена, а «преступник» в сопровождении солдата отправлен в захолустный Шадринск. Правда, по дороге к месту своего назначения он получил новое «милостивое» распоряжение, согласно которому он назначался старшим учителем в пермской гимназии. Но Мельников превосходно понимал, что и эта «милость» была все-таки ссылкой.

Весной 1839 года ему удалось выхлопотать разрешение переехать в родной Нижний Новгород. Здесь он был назначен на должность старшего учителя гимназии. Учителем Мельников сравнительно недолго. На первых порах он с юношеским увлечением стремился ввести в преподавание подлинную научность; в своих отношениях с учащимися он хотел следовать наиболее прогрессивным педагогическим идеям того времени. Но в этих своих стремлениях он оказался одиноким. Тогдашние гимназические преподаватели большей частью были людьми малообразованными и равнодушными. «В гимназии, — вспоминал позднее Мельников, — то есть в обществе учителей, я был почти лишним человеком. В это время директор, инспектор и многие учителя были из семинаристов старого покроя, несносные в классе, дравшие и бившие учеников нещадно (каждую субботу была «недельная расправа», и много розг изводилось) и низкопоклонничавшие не только перед высшими чинами губернской администрации, но и перед советниками», — то есть перед мелкой чиновничьей сошкой. Но взаимная неприязнь между Мельниковым и его сослуживцами обуславливалась не только различием в педагогических взглядах и приемах. Большинство преподавателей гимназии в своих литературных вкусах и политических убеждениях было крайне реакционно. «Пушкин, по их мнению, — писал Мельников, — пустомеля не

имеющий изящного вкуса, и притом вольнодумец, Лермонтов мальчишка, которому необходимы розги, Гоголь — сальный марака, а Белинский — сумасшедший человек, который сам не знает, что пишет».^[4]

В этом свидетельстве большое значение имеет и то, что для Мельникова имя Белинского — и в литературном и в общественно-политическом плане — стояло в одном ряду с именами Пушкина, Лермонтова и Гоголя. До нас не дошло сведений о том, знал ли Мельников ранние статьи Белинского. Однако необходимо иметь в виду, что Белинский сразу же после того, как была напечатана его первая большая статья, «Литературные мечтания» (1834 г.), стал в центре всей литературно-общественной борьбы, и в те годы не было буквально ни одного журнала, в котором в той или иной связи не упоминалось бы имя молодого критика. Не знал о нем тогда только тот, кто вовсе был чужд литературе. Можно с полным основанием предполагать, что Мельников при его глубоком интересе к литературе читал тогдашние статьи Белинского и не мог не сочувствовать борьбе молодого критика против врагов Пушкина, предводительствуемых продажным журналистом и литератором Булгариным. Это предположение подтверждается и тем, что Мельников с самого первого своего выступления в печати оказался в рядах того литературного направления, которое было связано с традициями Пушкина.

В 1839 году в Петербурге начал выходить обновленный журнал «Отечественные записки», издатели которого — А. А. Краевский и В. Ф. Одоевский — не уставали напоминать о своей бывшей близости к Пушкину и о своей решимости бороться против Булгарина и его союзников — Н. И. Греча, состоявшего так же, как и Булгарин, в связи с тайной полицией, и О. И. Сенковского — ловкого, но беспринципного журналиста и критика, редактировавшего тогда самый распространенный журнал — «Библиотека для чтения». Именно в «Отечественных записках» Мельников и напечатал в 1839 году свое первое произведение — «Дорожные записки». Он сотрудничал в «Отечественных записках» вплоть до 1844 года, то есть как раз в те годы, когда этот журнал под руководством Белинского стал трибуной революционной мысли. Едва ли можно говорить о том, что Мельников тогда принимал революционную проповедь Белинского, но его сочувствие литературно-эстетическим взглядам великого критика не подлежит никакому сомнению. Крупные, принципиального характера литературно-критические статьи, печатавшиеся в те годы на страницах «Отечественных записок» (а все они

принадлежали перу Белинского), Мельников считал прекрасными.^[5]

Сочувствие борьбе Белинского за укрепление реализма сказалось и на первых беллетристических опытах Мельникова.

Литературные взгляды Мельникова формировались в период обостренной борьбы между реализмом и романтизмом. В тридцатых годах XIX столетия были созданы такие шедевры реалистической литературы, как «Повести Белкина», «Медный всадник», «Пиковая дама», «Капитанская дочка» — Пушкина; «Тарас Бульба», «Старосветские помещики», «Невский проспект», «Коляска» — Гоголя; «Песня про купца Калашникова» и «Герой нашего времени» — Лермонтова. Эти произведения знаменовали собой решительную художественную победу реализма. Однако это вовсе не означало, что реализм уже в те годы стал господствующим направлением в литературе. Большинство писателей принадлежало тогда еще не к реалистическому, а к романтическому направлению. Писатели-романтики тех лет в большинстве своем принадлежали к реакционным общественным кругам и вполне сознательно выступали против правдивого изображения жизни. Однако к этому направлению примыкали и такие литераторы, которые по своим политическим взглядам ничего общего с правительственной реакцией не имели. Среди этих немногих литераторов наиболее талантливым и влиятельным был А. А. Бестужев-Марлинский.

В первой половине двадцатых годов Бестужев был виднейшим критиком и теоретиком романтизма. В те годы он писал и романтические повести. После поражения декабрьского восстания Бестужев, как один из активнейших его участников, был сослан в Якутск. В 1829 году он был переведен рядовым на Кавказ, и ему разрешили печататься, правда, под псевдонимом (Марлинский). В повестях тридцатых годов Марлинский стремился проводить те же идеи, что и в своем додекабрьском творчестве. Но если за протестом героев его ранних повестей чувствовался подтекст общественного подъема преддекабрьской поры, то в тридцатых годах этого подтекста не было, и поэтому обличительные филиппики его героев этого времени часто сбиваются на простое резонерство. Повести Марлинского стояли вне процесса демократизации тематики и стиля русской литературы тех лет — процесса, начало которому положили Пушкин и Гоголь и который в конкретной литературной практике проявился прежде всего во внимании к жизни рядовых людей, ко всему, что связано с этой жизнью, что непосредственно влияет на нее. Это и было причиной того, что Белинский, признававший незаурядный талант

Марлинского, относился к его творчеству тридцатых годов отрицательно. Особенно последовательно он боролся против риторической напыщенности стиля повестей Марлинского. «Ни одно из действующих лиц его повестей, — писал великий критик, — не скажет ни слова просто, но вечно с ужимкой, вечно с эпиграммой или с каламбуром, или с подобием; словом, у г. Марлинского каждая копейка ребром, каждое слово завитком».^[6]

Борьба Белинского за утверждение пушкинско-гоголевского направления в литературе и его выступления против Марлинского и особенно его подражателей оказали определенное влияние на замысел первого крупного беллетристического произведения Мельникова — его романа «Торин». Вот что писал Мельников издателю «Отечественных записок» А. Краевскому: «Посылаю вам провинциальный очерк «Звезда Троеславля». Несколько слов о нем: это не повесть, не рассказ, а так что-то — очерк... Скажу вам наперед: лица почти все списаны с натуры — все за исключением Торина, Менского и еще разве некоторых из остающихся на втором плане. Окуньков — живая натура: прочитал как-то раз историю философии Галича, не понял в ней ничего да знай щеголяет философскими терминами. Претензии на французский язык и незнание этого языка именно вы найдете в Вятке, Перми, Уфе, особенно в Вятке. Марлинский сильно подействовал на провинцию, и нынче любовники объясняются в провинции не иначе, как кудреватым слогом и даже аллегориями. Право, не шутя поезжайте в Пермь, в заводы зауральские, в Вятку, в Уфу, в Саратов, и даже отчасти в Пензу — и вы встретите очень много людей, подобных Шабурову. Даже люди бывалые превращаются часто в провинциальных амфибий, подобных Торину. У таких людей черные думы, мрачность души и т. п. занимают половину разговора. Это уж непременно. Сюжет очерка, разумеется, выдуман — я хотел было устроить завязку позамысловатей, но подумал — к чему это — ведь это не повесть. К тому же этот очерк будет не что иное, как часть сочинения: «Торин». Этот «Торин» будет состоять из пяти очерков и рассказов: «Звезда Троеславля», «Новый исправник», «Ивановская красавица», «Заочная любовь» и «Он ли это?». В этих рассказах будет описана провинциальная жизнь в губернских городах высшего разряда («Заочная любовь»), в губернских городах низшего разряда («Звезда Троеславля» и «Ивановская красавица»), в уездных первого разряда («Он ли это?») и низшего («Новый исправник»), в эпилоге — жизнь в деревне. Если вам понравятся эти очерки, я помещу их у вас — и потом свяжу другими рассказами и издам отдельно года через два, если жив буду».^[7]

Не трудно заметить, что на это его намерение — высмеять провинциальных «амфибий» оказало влияние и творчество Лермонтова. Тут особое значение имел Грушницкий — ничтожество, драпирующееся в романтическую тогу. Наряду с этим в «Торине» были темы и образы, предопределенные чтением Гоголя.

Этот роман не удался Мельникову, что, естественно, огорчило молодого писателя. Но не обескуражило. Как и всякий человек, одаренный подлинным талантом, он превозмог охватившее его поначалу чувство растерянности и разочарования и нашел в себе силы, чтобы отыскать истинные причины постигшего его поражения. В письме к младшему своему брату, служившему в то время на Кавказе, Мельников о своем литературном дебюте говорил так: «Ты пишешь, что в Кубанской глуши добыл «Литературную газету» и восхищался «Елпидифором»... Плохой же у тебя вкус, если только восхищение твое не произошло единственно от родственного чувства... Никогда не прощу себе, что я напечатал такую гадость; если бы можно было, я бы собрал все листки «Литературной газеты» не только на Кубани, но и во всей Великой, Малой и Белой России и все бы их в печку. Я еще мало знаю людей, чтобы писать повести, и даю тебе и себе честное слово не писать ни стихов, ни прозы до тех пор, пока не узнаю жизнь получше... Покаюсь тебе, кстати, еще во грехе: написал я повесть и повесть большущую, в 14 главах под названием «Звезда Троеславля», да этого еще мало — послал ее к Краевскому, но, слава богу, он возвратил мне ее для переделок, я ее и переделал на фидибусы — раскуривал трубку этими фидибусами чуть не полгода».^[8]

Эта беспощадная самооценка была, пожалуй, первым реальным результатом изучения творчества Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Белинского. Школа великих учителей помогла ему уяснить одну из важнейших истин: без глубокого, самостоятельного знания живой жизни невозможно подлинное творчество.

Но мысль о необходимости досконального знания жизни сама по себе имеет еще слишком общий характер. Художник если он действительно хочет сказать людям нечто такое, чего еще не говорили его предшественники, должен найти такую область общественного бытия, которая в его время является наиболее важной. И тут Мельников шел по той же дороге, по которой в сороковые годы XIX столетия шли молодые писатели — ученики Гоголя, последователи эстетических идей Белинского. Это был

путь познания жизни народа. Еще с университетских лет он начал изучать быт и нравы народов, населяющих восточные губернии Европейской России. Но тогдашние изучения еще не имели определенной целенаправленности; он присматривался и запоминал, может быть, еще и не задумываясь над тем, что когда-нибудь эти впечатления пригодятся ему для его творчества. Теперь, в сороковых годах, исследования Мельникова приобрели, так сказать, специальный характер. Хотя, по-видимому, и на этот раз Мельников еще не сразу осознал, что жизненный материал, попавший в круг его зрения, определит его литературный путь.

Жизнь большинства крупных писателей при всем разнообразии конкретных обстоятельств, в которых им приходится действовать, при всей неповторимости темпераментов и характеров почти всегда имеет одну общую особенность: чаще всего писатель очень рано осознает свое призвание и после этого до конца своих дней все свои душевные силы подчиняет выполнению этой жизненной миссии. Пушкин на протяжении многих лет числился чиновником министерства иностранных дел; эта неизбежная в его положении обязанность отнимала какую-то часть драгоценного времени, тяготила и раздражала его, но, конечно, не привлекала и не занимала ни его ума, ни его сердца: вся энергия его личности была поглощена творчеством. Лермонтов с самого раннего детства — поэт; и в офицерском мундире он остался прежде всего поэтом и только поэтом. Вся жизнь Льва Толстого — это глубоко осознанный, целеустремленный писательский подвиг. Даже неоднократные его намерения оставить литературную деятельность были в конце концов predetermined неукротимой требовательностью художника к самому себе. Некрасова или Островского, Тургенева или Достоевского вне литературы просто нельзя себе представить.

Писательская судьба Мельникова сложилась иначе. Склонность к художественному творчеству у него обнаружилась довольно рано. Однако с детских лет с ней соперничал глубокий его интерес к истории. Будучи учителем нижегородской гимназии, Мельников начал изучение истории своего родного города. Он много работал в местных архивах, и это вскоре принесло ему известность в ученых кругах Петербурга и Москвы. Эти историко-краеведческие занятия и возбудили его интерес к «расколу», поскольку в Нижегородской губернии старообрядцы составляли тогда весьма значительную и в известной степени влиятельную часть населения. Первые шаги в изучении «раскола», как очень важного и своеобразного явления русской жизни, в значительной степени облегчались для Мельникова тем, что он многое в нравах и обычаях старообрядцев знал еще с детских лет. Но по мере овладения материалом он все больше и больше убеждался, что одного знания быта явно недостаточно. Больше того, сам этот быт не мог быть осмыслен без знания истории возникновения и развития «раскола», без понимания того, какое место в общественной и политической жизни России занимает старообрядчество в целом. Все эти вопросы в то время были еще

мало освещены, а то и преднамеренно затемнены и фальсифицированы официальными историками православной церкви. Мельников принялся штудировать официальную церковную и старообрядческую догматику, историю возникновения и развития «раскола», знакомился с многочисленными правительственными мерами «пресечения» его. Он разыскивал почитаемые старообрядцами старопечатные и рукописные книги, записывал и запоминал многочисленные старообрядческие предания и легенды... К концу сороковых годов он был уже одним из самых известных знатоков старообрядчества. И эта его известность оказала на всю дальнейшую жизнь Мельникова огромное влияние. Дело в том, что его обширной осведомленностью в старообрядческой жизни заинтересовались прежде всего власти предрержащие. В 1847 году Мельников стал чиновником особых поручений при нижегородском генерал-губернаторе. Занимался он почти исключительно старообрядческими делами: выявлял и подсчитывал тайных «раскольников», разыскивал беглых старообрядческих попов, «зорил» скиты, вел с начетчиками старообрядчества догматические диспуты и т. п. Эта энергичная деятельность нижегородского чиновника вскоре была замечена и в Петербурге; Мельников начинает выполнять не только поручения местного начальства, но и задания министра внутренних дел и даже «высочайшие» повеления.

В судьбе Мельникова произошел значительный по своим последствиям поворот: на долгие годы вступил он в круг царских чиновников, в круг лихоимцев, казнокрадов, изощренных крючкотворцев, циничных карьеристов. Ученик Пушкина и Гоголя, с большим сочувствием читавший статьи Белинского, и усердный служитель николаевской канцелярии — как уживались в Мельникове эти две ипостаси? А может быть, их и не было — двух ипостасей? Может быть, он «с приходом лет перебесился», раскаялся в вольнодумческих грехах молодости и, заглушив голос совести, принялся делать карьеру? Ведь не мог же он — человек с университетским образованием — не знать, что представляет собою чиновничья каста, и, стало быть, не мог не понимать, что между его верованиями и канцелярскими нравами слишком мало общего? Правда, при всякой попытке разобраться в этих недоуменных вопросах необходимо иметь в виду, что непосредственной причиной поступления Мельникова на службу была самая прозаическая нужда: кроме жалованья, жить ему было не на что, а чиновникам даже средней руки платили тогда гораздо больше, чем учителям.

Если внимательно присмотреться к чиновничьей

деятельности Мельникова, то нельзя не заметить в ней какой-то наивности, чего-то такого, что можно было бы назвать административным донкихотством. Он действовал не как исполнитель, которому приказали, а с каким-то особым рвением, инициативно. Однако этим своим необыкновенным усердием он достигал результатов на первый взгляд весьма неожиданных: лишь очень немногие из высших начальников одобрительно относились к его служебным подвигам; большая же часть его сослуживцев — и губернских и министерских — относилась к нему с нескрываемой враждебностью; при выполнении любого порученного ему дела он всегда чувствовал какое-то глухое и непреодолимое противодействие. На первых порах ему казалось, что оно зависит или от злонамеренной непорядочности, или от неосведомленности и равнодушия отдельных чиновников. «Есть у нас люди, — писал он в одном из своих писем, — ...люди деловитые, люди, обрекшие себя на вечное вращение формальностями канцелярскими, люди, которых цель состоит в том, чтобы дело шло формально — хорошо и не могло бы иметь дурных последствий, а будет ли оно иметь последствия хорошие — это не наше дело. — Этим-то людям я и не по нутру».^[9]

Он доказывал, жаловался, протестовал, апеллируя к законности и высшим интересам государства — интересам, которые, по тогдашнему его искреннему убеждению, совпадали с интересами народа и которые — это особенно важно для понимания общественно-политической позиции Мельникова тех лет — должно и может охранять царское правительство.

Нетрудно заметить, что это убеждение было по самой своей коренной сущности реакционно. Однако сам Мельников, действуя в соответствии с этим убеждением, вовсе не считал себя отступником от прогрессивных идей своего времени. Напротив, он искренне верил, что путь государственной службы был едва ли не единственным для каждого передового человека, желавшего принести родине хоть малую, может быть, но зато реальную пользу. И в этой уверенности он был не одинок.

Для многих людей тридцатых — сороковых годов XIX столетия — людей, сочувствовавших народу и страстно желавших блага своей стране, — поражение декабристов означало полную невозможность открытой борьбы против самодержавного правительства. Силы немногочисленных революционеров были слишком ограничены. А народ, думали эти люди, был слишком темн и несознателен, чтобы самостоятельно подняться на борьбу за свое освобождение или поддержать революционный почин своих доброжелателей из высших слоев общества. Отсюда настойчивые поиски иных, постепенных, но действенных способов облегчения участи народа. И наиболее верным считался путь просвещения — в самом широком понимании этого слова: просвещение помещиков, в результате чего они научились бы уважать человеческое достоинство крепостных крестьян; просвещение чиновников, чтобы они охраняли права граждан и строго соблюдали хотя бы те законы, которые тогда существовали, и, наконец, просвещение народа, чтобы он постепенно освобождался от темных предрассудков и суеверий и научился различать свои подлинные интересы.

Распространению просветительских иллюзий в те годы способствовало и еще одно весьма своеобразное обстоятельство. Трудно представить себе более закоренелого ненавистника культуры и просвещения, чем Николай I. Но и он вместе со своими приспешниками понимал, что одними запретами, преследованиями и расправами освободительные устремления передовых людей остановить нельзя. Чтобы сдерживать вольнолюбивые порывы и погасить революционную энергию, нужны были, как сказал один николаевский вельможа, «умственные плотины». С этой целью казенная идеология решила присвоить себе популярные идеи просвещения. Николай I был провозглашен убежденным просветителем, поклонником законности, тайным противником крепостного права. Всеми средствами распространялась легенда о том, будто правительство во главе с царем желает стране и народу всяческого добра, а невежественные, бесчестные чиновники и некоторые злонамеренные помещики мешают осуществлению благотворительных начинаний.

Как ни примитивна была эта демагогия, но в условиях спада освободительного движения она оказывала влияние даже на людей прогрессивного образа мыслей. Этим людям казалось, что честная, бескорыстная деятельность не может не получить

поддержки правительства и, стало быть, тем вернее даст реальные плоды.

Мельников принадлежал именно к такого рода людям. В студенческие годы ему были свойственны некоторые черты вольнодумства, но оно, конечно, не поднималось до революционного протеста. Человек, выросший и воспитавшийся в провинции, вдали от центров освободительного движения, он не был знаком с самым существом революционных идей своего времени, слабо разбирался в обстоятельствах общественной борьбы тех лет. Потому-то, в частности, он и считал вполне возможным, сотрудничая в журнале Белинского, печататься и в «Москвитянине» — реакционном журнале М. П. Погодина. По коренным своим убеждениям он был просветитель. И высокий гуманизм Пушкина, и грозный смех Гоголя, и горькое отрицание Лермонтова он воспринимал как просветитель. Даже в проповеди Белинского он не сумел усмотреть революционного начала. Главными пороками всей общественной жизни России он считал своекорыстие большей части дворянства, невежество и лихоимство чиновничества, равнодушие и произвол вельмож. И все это, по его убеждению, могло процветать прежде всего потому, что русский народ был забит и темен.

Эти взгляды предопределили и его отношение к «расколу», который, как он совершенно искренне думал, был плодом крайнего невежества и самой несусветной дикости. Догматика и традиции «раскола» отгородили большие массы народа не только от элементарных завоеваний цивилизации (старообрядцы избегали обращаться к помощи врачей, даже в первой половине XIX века они считали картошку чертовым яблоком, им запрещено было пить чай и т. п.), но и от всего, в чем выражалась поэзия народной жизни: «мирские» песни, хороводы и пляски почитались в старообрядческой среде за великий грех. Старообрядчество как общественное явление — это воплощенный застой — таков был для Мельникова главный итог его исследований и разысканий.

Конечно, — нет худа без добра! — благодаря стараниям старообрядцев сохранились для истории многие древние рукописи, книги, замечательные по своей художественности иконы, утварь и т. п. Мельников это превосходно понимал, но его чисто просветительская ненависть к темной, суровой догматике «раскола» была так сильна, что только из-за присутствия ее элементов он, прирожденный художник, не сумел оценить такого исключительного по своей художественной силе памятника старообрядческой старины, как «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».

Свои взгляды на «раскол» Мельников изложил в

монументальном «Отчете о современном состоянии раскола в Нижегородской губернии», написанном по заданию министра внутренних дел (1855 г.). В этом документе рельефно выразилась двойственность положения Мельникова — ученого чиновника и просветителя. Почти десятилетняя служба не могла не повлиять на него. «Отчет» представляет собою типический образец чиновничьей «дипломатии», главным оружием которой были верноподданные заверения. Сообразуясь с официальной политикой, Мельников писал в этом документе, что старообрядчество представляет силу, препятствующую «благодетельным видам» правительства, что в случае международных конфликтов «раскольники» могут оказать поддержку тому иноземному государству, которое пообещает им свободу вероисповедания. Правда, сколько-нибудь убедительных доказательств, подтверждающих эти положения, он, в сущности, не привел.

Но главное в «Отчете» не в обосновании правительственного взгляда на «раскол». Сквозь официальную фразеологию этого документа явственно проступает мысль Мельникова-просветителя о том, что «раскол» — это одно из тяжких зол народной жизни. Развивая эту мысль, он смело (нельзя забывать, что «Отчет» составлялся в последние годы царствования Николая I) высказал соображения и выводы большой обличительной силы. По мнению Мельникова, на отношении к «расколу» ярче всего проявлялись противоречия внутриполитической жизни России. В сущности, полулегальный гражданский быт старообрядцев создавал благодатную почву для всякого рода злоупотреблений. Чиновничество беззастенчиво грабило старообрядцев именно на том основании, что их верования были вне закона. Православный поп вымогал с них обильную дань только за то, что не доносил начальству об их приверженности к «расколу». Многие помещики «покровительствовали» старообрядцам лишь потому, что те отплачивали «благодетелю» «примерным» оброком. Богатые старообрядцы поддерживали традиции «раскола», чтобы сподручнее было обделывать свои торговые и промышленные дела, как правило, отнюдь не безгрешные.

Таким образом, главные правящие силы России на деле были заинтересованы в существовании «раскола», но именно полулегальном существовании. В николаевские времена нечего было и думать о полной легализации «раскола» — Мельников это хорошо понимал. Он искренне был убежден, что для того, чтобы защитить подлинные человеческие интересы массы старообрядцев, необходимо было подавить «раскол» силами правительства и православной церкви. Дело оставалось за малым:

нужны были честные чиновники и образованные, непродажные попы!

Тут отчетливее всего сказалась ирония чиновничьей судьбы Мельникова. Наконец-то и высшее начальство увидело, что рвение Мельникова имеет мало общего с «видами правительства»; предложенные им «радикальные» меры были отвергнуты. И понятно почему: на фоне нарисованной Мельниковым вакханалии злоупотреблений его проекты могли восприниматься почти как издевательство. После представления «Отчета» служебная карьера Мельникова, по существу, окончилась. Правда, он состоял при министерстве еще около десяти лет, но важные дела ему теперь поручали редко, чинами явно обходили.

Мельников не мог не понимать причин такой «немилости». Утопическая вера в просветительную миссию самодержавного правительства получила сильный удар. Но богатый опыт чиновничьей службы не пропал даром. Именно в эти годы родился самобытный писатель Андрей Печерский.

Рассказом «Красильниковы» Мельников как бы заново начинал свой творческий путь. Он тогда все еще сомневался в своих писательских способностях. Понадобилось одобрение такого авторитетного в то время писателя, как В. И. Даль, чтобы Мельников решился отослать это свое произведение в печать. Успех рассказа превзошел самые смелые надежды. Критики того времени говорили о нем как о незаурядном явлении литературы. Некрасовский «Современник» — в те глухие годы самый последовательный защитник реализма, — заключая свой отзыв, писал: «По верности действительности, по меткости и по силе впечатления этот рассказ может быть поставлен наряду только с лучшими произведениями». Произведения, с которыми критик мысленно сопоставлял рассказ Печерского, здесь не названы, но безоговорочная решительность тона побуждала читателей вспомнить имена самых крупных русских писателей.

«Красильниковы» написаны уверенной рукой мастера. Печерский наделен одним из самых драгоценных свойств повествователя — умением с первых же фраз овладеть вниманием читателя. Несколькими, казалось бы, случайно попавшимися на глаза деталями он сразу вводит в атмосферу действия. Дешевая гипсовая статуэтка знаменитой балерины и странные бумажные фигуры, наклеенные на оконных стеклах; тяжелое железное кольцо на дубовой калитке; сиплый лай, глухой рев дворовых собак, а потом толстая заспанная девка.

— А отдыхает...

— А не знаю же я...

Еще неизвестно, кто там и что там — за толстыми воротами. Пока что чувствуется еле уловимая и не совсем еще понятная усмешка рассказчика да возникает ожидание чего-то мрачного и тяжелого.

Образы этого рассказа, как произведения большого скульптора, «хорошо смотрятся» с самых различных точек зрения. Это ведь Корнила Егорыч соорудил «залу» и стал «добровольным заточенником в золотой тюрьме своей»; и что рядом с «изысканными» гелиотропами поставлен стручковый перец — во всем этом — он, Корнила Егорыч, его «вкус», его характер. Тут чисто гоголевское умение видеть в вещах и предметах «душу» их владельца. Но в чем душа старшего Красильникова как бы настезь распахивается перед нами, так это в его речи. Пословицы, поговорки, старинные слова и обороты — все это Мельников, конечно, тщательно отобрал. Но эта предварительная работа

почти совсем не чувствуется. Речь Корнилы Егорыча звучит как совершенно свободная и непринужденная импровизация.

Ученик Пушкина и Гоголя, Мельников овладел здесь и секретом лаконичности. Даже второстепенные фигуры в его рассказе рельефны и впечатляющи. Рисуя отношения своих героев, он достигает почти драматической выразительности. Вот, например, младший из Красильниковых — Сережа. О нем сказано немного, но каждый штрих бьет в цель: «Низко поклонясь, смиренно остановился он у притолоки, глядя исподлобья на родителя...» Что это — стеснительность, богобоязненность? «Молод, дурь еще в голове ходит... Все бы еще рядиться да на рысаках... Летось женил...» Так говорит о нем отец — при посторонних людях! А вот как он с ним разговаривает:

«— Слышишь?.. Чего стал?.. Пошел, дожидайся!

— Слышу, тятенька!

— Ступай же!.. На крыльце дожидайся...»

Понятно, почему Сережа исподлобья-то смотрел! Легко себе представить, каков он бывает, вырвавшись из-под тяжелой ферулы родителя, — «на рысаках» или где-нибудь в трактире. Должно быть, Сережа очень желает своему отцу доброго здоровья и многих лет жизни...

Успех «Красильниковых» открывал перед Мельниковым широкую дорогу в литературу. Будучи весной 1852 года в Петербурге, Мельников убедился в этом. «Красильниковых» читают нарасхват, — сообщил он в одном из своих тогдашних писем. — Панаев задал мне обед; вместо 50 р. за лист, которые дает Погодин, предлагает 75 рублей серебром за лист» Казалось бы, теперь он мог писать и писать. Но в его литературной работе наступил еще один, почти пятилетний перерыв. Почему же он не воспользовался обстоятельствами, как будто бы так счастливо сложившимися для него?

В только что цитированном письме есть фраза, содержащая исчерпывающий ответ на этот вопрос. Рассказав о будущих гонорах, Мельников написал следующее: «Если не запретят писать, надобно будет воспользоваться этим выгодным предложением». Если не запретят писать... В николаевские времена такого рода запреты не были редкостью. Лютая ненависть царя и его прислужников к литературе была общеизвестной. «История нашей литературы, — писал Герцен в 1850 году, — это или мартиролог, или реестр каторги». ^[10]

Когда Мельников писал горькие слова о возможном запрете, у всех еще была в памяти буря, разразившаяся над А. Н. Островским после напечатания пьесы «Своя люди — сочтемся»:

попечитель московского учебного округа «вразумлял» великого драматурга, а полиция следила за каждым его шагом — по прямому приказу царя. Как раз в 1852 году Тургенев после выхода в свет его «Записок охотника» был посажен на съезжую, а потом сослан в деревню.

«Красильниковы» произвели большое впечатление не только на читателей, но и на тех, «кому ведать надлежало». «Быть может, до вас дойдут слухи о том, что я арестован, — предупреждал Мельников своего адресата в том же письме. — Повесть «Красильниковы» имела сильный успех, но цензура, говорят, возопияла и послала в Москву узнать, кто такой «Печерский»... Если это справедливо, без неприятностей не обойдется: здесь то и дело литераторы на гауптвахте сидят. Авось и пройдет!». ^[11]

Но авось не выручил: ведь Мельников был чиновник — лицо перед высшим начальством сугубо подневольное.

Почему же власть имущие так всполошились?

Тема рассказа как будто бы чисто бытовая. Но разрешалась она на таком жизненном материале — быт купечества, который в то время сам по себе был политически актуален. Гоголь бросил на купца презрительно-насмешливый взор. Но его купцы еще старозаветной породы. Они еще и сами не перестали считать себя холопами; даже с начальством средней руки они были почтительны и уступчивы и осмеливались только разве жаловаться, да и то лишь в крайних случаях. Русский купец и промышленник середины XIX столетия был уже не таков. Вышедший из числа оборотистых мужиков или плутоватых и услужливых приказчиков, он все смелее и напористее претендовал на положение нового хозяина жизни. И самодержавие сочувственно относилось к этим претензиям. К такому купцу русские писатели тогда только еще начинали присматриваться. Самсон Силыч Большов стоял в тогдашней литературе почти в полном одиночестве.

Корнила Егорыч — человек того же разбора, что и Большов. Но в мельниковском герое перед нами новое качество: он, если можно так про него сказать, мыслит более крупными категориями, он «политик». Говоря о бестолковости чиновничьей статистики, Корнила Егорыч в то же время имеет в виду всю государственную экономию; он толкует не просто о нравах и стремлениях купеческой молодежи самих по себе, а о смысле и пользе просвещения вообще. И все это самоуверенно, ни на минуту не сомневаясь в собственном превосходстве над собеседником.

На первый взгляд может показаться, что Мельников в чем-то

разделяет мнения старшего Красильникова и даже чуть ли не сочувствует ему. В речах Корнилы Егорыча о несурaziце казенных умозаключений есть явный резон. Но ведь чиновники и на самом деле действуют так бессмысленно и нелепо, что не надо было большого ума, чтобы заметить это. Рассказчику эти речи, по-видимому, нравятся; но Печерского ни в коем случае нельзя отождествлять с самим Мельниковым: первый слушает Красильникова, разиня рот, и не перестает удивляться его мудрости, а второй просто дал купчине покуражиться и вместе с тем его устами высказал свое мнение о той машине, которую теперь знал досконально. За «критиканством» Корнилы Егорыча явно чувствуется полное его равнодушие и к интересам государства и к народной участи. «Лежит себе на печи да бражку потягивает», — говорит он о мужике, нисколько не смущаясь этой явной ложью.

С полной заинтересованностью он требует только одного: чтобы наживе не препятствовали, чтобы его «сноровке» дали полную волю. А все его «разумные» речи, как и мелкоштучный паркет, как и незажигаемые дорогие лампы в «зале», — только для вида. Он как будто бы с завистью говорит об иностранных кожевенных промышленниках, вполне резонно объясняет небрежную работу русских мастеров поштучной платой, посмеивается над русскими купцами, рассчитывающими «на авось, небось да как-нибудь», — и все это ради красного словца. Сам-то он платит рабочим поштучно и понуждает их старание и радивость толстой суковатой палкой: его алчность не знает пощады. Да что рабочие! Безмерной жадностью к деньгам погубил он и своего талантливового сына Дмитрия. Корнила Егорыч — опять-таки только ради красного словца — уверяет, будто приданое он не ценит; на самом-то деле он не может скрыть своей досады, что Дмитрий не захотел жениться на дочке какого-нибудь миллионщика. Потому-то так и ненавистно Корниле Егорычу просвещение, что оно неразлучно с человечностью, что по самой своей сущности оно враждебно религии барыша.

В этом рассказе впервые выразились взгляды Мельникова на нового хозяина жизни, взгляды, которым он не изменял до конца своих дней. Конечно, Корнилы Егорычи — это сила. Но сила бесчеловечная, антинародная, сила тем более страшная, что ей покровительствуют власти, и поэтому при всей ее жестокости она безнаказанна.

«Красильниковы» были не только важнейшей вехой в литературной деятельности, но и во всем общественном поведении Мельникова. Осознав себя художником, уверовав, наконец, в свое художническое призвание, он острее, чем когда бы то ни было прежде, почувствовал, насколько чужд он миру чиновничества и насколько ненавистен ему этот мир. Раньше ему казалось, что он не может ужиться лишь в среде провинциального чиновничества. Теперь, вступив в круг высшей столичной бюрократии, он и здесь увидел тех же чиновников, может быть, чуть-чуть только повылощенной да поприбранней. Но самое важное было даже не в этом. В сороковых годах Мельников, если можно так сказать, «не смел» мыслить как художник, и поэтому его жизненный опыт носил экстенсивный характер: в памяти откладывался нескончаемый ряд наблюдений, а подлинная связь между ними не всегда до конца осознавалась. Теперь неверие в силы своего таланта больше не угнетало его и не мешало ему мыслить художнически. А художническая мысль в конечном счете устремлена к обобщению; без него подлинное творчество невозможно. Каждый замеченный факт сопоставляется со всем ходом вещей и, стало быть, становится достоянием творчества. И чем крупнее художник, тем сильнее в нем способность видеть, как в единичном явлении сказываются общие закономерности жизни. Правдивость заложена в самой природе мышления подлинного художника.

После успеха «Красильниковых» Мельников быстро освобождался от прежних иллюзий. А то, чему раньше он, может быть, не придавал значения, теперь приобретало глубокий смысл. Сюжеты и ситуации складывались сами собой, образы наполнялись живой тканью действительности. Теперь нужна была только возможность общения с читателем. И она в конце концов появилась.

Царствование Николая I кончилось так, как только оно и могло кончиться, — катастрофой. Казенный оптимизм, показное величие, оплаченные славословия — все это в свое время было пущено в ход николаевским правительством для того, чтобы успокоить, то есть обмануть общественное мнение. Но ложь — это палка о двух концах она поражает не только тех, кому предназначена, но и тех, кто ее выдумал. В последние годы николаевского властвования ложь пропитала все поры государственной жизни. Предупреждающие голоса внутри страны были подавлены, а то, что говорили о положении в России

иноземные наблюдатели, объявлялось злонамеренной клеветой, сочиненной якобы из зависти. В правящих верхах, в сущности, никто ничего толком не знал. Страна была ввергнута в бессмысленную войну, в ходе которой показное величие рухнуло с таким треском, что главный лицедей режима — Николай — при всей своей безграничной самоуверенности не перенес этого: ходили слухи, будто лейб-медик Мандт оказал своему патрону последнюю услугу — дал ему по его просьбе соответствующую порцию яда, а сам отправился в родные места — в Германию — проживать щедрые царские подачки, заблаговременно переведенные в европейские банки.

Новый царь, похоронив «незабвенного» родителя (демократически настроенные люди сразу переименовали этот эпитет и стали звать Николая «неудобозабываемым»), поневоле должен был как-то менять внутреннюю политику — опять-таки ради успокоения общества. Но оно уже было не то, что раньше. В нем были силы, полные решимости опереться на растущее возмущение народа. Именно поэтому самодержавно-помещичьи правящие верхи вынуждены были пойти на известные уступки. В 1856 году заговорили о необходимости отмены крепостного права, о преобразовании суда, администрации и т. п. Был несколько ослаблен и цензурный гнет.

Передовые русские писатели не замедлили воспользоваться этим. В 1856 году вышли в свет две книги, обозначившие новую эпоху в литературе: сборник стихов Н. А. Некрасова, открывавшийся стихотворением «Поэт и гражданин», в котором звучал почти открытый призыв идти на бой против самодержавия и крепостничества, и «Губернские очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина, потрясшие читателей горькой правдой о нравах той огромной корпорации разных служебных воров и грабителей, о которой писал незадолго до своей кончины Белинский в знаменитом письме к Гоголю.

В рядах передовых писателей выступил и Мельников. Ему пришлось долго размышлять над тем, что произошло в стране и чего ждет общество от литературы. В 1856–1857 годах — всего лишь за один год с небольшим — он напечатал целую серию произведений, которые если и не были целиком написаны, то уж во всяком случае обстоятельно обдуманы еще в николаевские времена. «Дедушка Поликарп», «Поярков», «Медвежий угол», «Непременный» — во всех этих рассказах Печерского предстали перед читателем во всей своей безобразной и цинической наготе порядки и нравы, господствовавшие в самодержавно-чиновничьем государстве.

Мельников сразу выдвинулся на одно из первых мест в

литературе тех лет. Редакторы журналов наперебой стремились заручиться его согласием на сотрудничество, критики ставили его имя наряду с именем Щедрина. Это сближение не без гордости принимал и сам Мельников. «Я с Салтыковым по одной дорожке иду: что Щедрина, то и Печерскому». [12]

В 1857–1858 годах такая оценка не была преувеличенной.

В названных выше рассказах Андрей Печерский не изменяет своей позиции занимательного и неприязнательного рассказчика. Он, по-видимому, без каких-то важных целей повествует о людях и случаях, с которыми ему пришлось сталкиваться во время его разъездов по медвежьим углам — по всем этим Рожновым, Чубаровым, Бобылевым. Этот своеобразный «индифферентизм» Печерского подчеркнут и построением его рассказов: обыкновенно он только вводит читателя в обстановку действия, а затем заставляет говорить своих героев. Они-то чаще всего и рассказывают о главных героях и обстоятельствах, тоже как будто бы не вдаваясь в суть дела, а просто так, для занятости. Если это какой-нибудь мелкий чиновник вроде Пояркова, то он рассказывает о своих похождениях, неизбежно впадая в бахвальство: «Да-с, бывал я котком, лавливал мышек». Если же речь ведет человек из народа, как, например, дедушка Поликарп или старик Максимыч из рассказа «На станции», то он обыкновенно толкует о чиновниках «хороших», которые сейчас правят, противопоставляя их «плохим» прежним. Но в этом простодушии Печерского и его собеседников и сказывается горькая ирония Мельникова, являющаяся в этих его рассказах одним из главных средств выражения идеи повествования.

Истинные «герои» всех этих рассказов — уездные или губернские чиновники различных рангов — от какого-нибудь исправника или станowego до управляющего казенной палатой. В среде этих людей властвуют законы разбойничьей шайки. Грабительство для них — дело заурядное и естественное: брать бери, не задумаваясь, только знай, с кем и когда поделиться добычей. Правда, некоторые из них различали виды грабежа; считалось, например, что «казной корыстоваться не в пример способнее, чем взятки брать...». Способы ограбления казны, глядя по обстоятельствам, были довольно разнообразны, но все без исключения циничически просты — изощряться особенно было не из чего, потому что наказывать было, собственно, некому. Но как ни отвратительно казнокрадство, Мельников обращал внимание прежде всего на взяточников — и не столько на тех, кто с купцами да подрядчиками дело имел, сколько на тех, кто драл непосредственно с народа. Именно здесь нагляднее всего

обнаруживалась антинародная сущность бюрократической машины.

Хвалители самодержавия — и купленные и доброхотные — без устали твердили о его цивилизаторской миссии, о том, что оно является носителем строгой законности. Мельников и сам совсем еще недавно склонен был верить этой легенде. Теперь он с возмущением обнажал ее лживость. «Закон, как толково ни будь написан, все в наших руках, — разъясняет Поярков. — А мужик что понимает? Он человек простой, только охает да в затылке чешет. До бога, говорит, высоко, до царя далеко». Действительно, мужик — темный и забитый — жил, как на осадном положении. В деревне его грабили местные и налетные начальники, в городе — городские. «Всякий... с тебя сорвать норовит: и городничий, и квартальный, и исправник; будочник привяжется — и будочника убогатори...»

«Все в наших руках...» — в этом было главное. Мельников не оставляет никакого сомнения: беда не в том, что среди чиновников слишком много мерзавцев; причина причин — в системе. Каждый чиновник сам по себе, как правило, — ничтожество, но его сила в том, что он связан грабежом со всем чиновничеством — от захолустного зимогорского до столичного. В этом смысле особенно важны фигуры крупных грабителей — Линквиста и Кабрейта. Первого часто ревизовали губернские власти, а второго — еще более важные чиновники, и обходилось благополучно, и все потому, что оба они и в столице были известны, то есть делились и с министерскими чиновниками. Правда, Кабрейт на одной из поставок слишком уж понадеялся «на волю божью», но надежды все-таки не теряет: соучастники грабежа в конце концов выручат.

Пока существует чиновничья корпорация, думал Мельников, народ так и будет беззащитен и бесправен, так и будет руководствоваться этой рабской «мудростью»: «Перед начальством имей голову наклонну, а сердце покорно...» Мельников и в эти годы не знал подлинных путей обуздания чиновничьей своры. Темнота и забитость народа были той почвой, на которой расцветало грабительство, — тут он был прав. Но, по его чисто просветительскому убеждению, сам народ не в силах был превозмочь этой темноты и забитости; свет должен был прийти откуда-то сверху.

Повесть «Старые годы» была напечатана как раз в то время, когда все больше и больше обострялась борьба вокруг крестьянского вопроса. Защитники крепостничества, отстаивая свои «права» на владение крещеной собственностью, за явной несостоятельностью юридических и экономических доводов с

удвоенной настойчивостью принялись оживлять старую легенду об исторических заслугах всего дворянства перед русским государством, перед русской культурой.

Вспоминали имена «птенцов гнезда Петрова», «екатерининских орлов», героев Отечественной войны 1812 года и заслуги этих людей приписывали всему дворянству. Дворянские идеологи немало потратили чернил, доказывая, будто русское дворянство было чуть ли не единственным творцом и распространителем культуры в России. Пушкин, Лермонтов и многие другие русские писатели тоже были дворяне, с напускной гордостью говорили эти люди, делая вид, что не знают, как русская аристократия травила и преследовала великих поэтов и как эти последние относились к дворянству и крепостничеству. В повестях и романах консервативных писателей дворянин выставлялся носителем рыцарского чувства чести и человеческого достоинства. Авторы многочисленных трактатов и статей без тени смущения толковали о том, что дворяне являются просветителями и наставниками крестьян.

Передовая русская литература противопоставила этим легендам правду о крепостническом дворянстве. В те годы появились новые, наиболее беспощадные антидворянские стихи Некрасова; Гончаров напечатал «Обломова», а Добролюбов разъяснил общественное значение этого романа. Некрасов в своей «Железной дороге», А. Н. Островский в исторических драмах, несколько позднее Лев Толстой в «Войне и мире» показали великую роль народа в защите родной страны и в созидании всех ее богатств — народа, а не дворянства.

Повесть Мельникова сразу привлекла сочувственное внимание демократических кругов. Некрасов сообщил о ней Тургеневу как о первостепенной литературной новости: «В «Русском вестнике»... появилась большая повесть Печерского «Старые годы»... интерес сильный и смелость небывалая. Выведен крупный русский барин во всей ширине и безобразии старой русской жизни — злодействующий над своими подвластными, закладывающий в стену людей...» И этот злодей, продолжал Некрасов, «всю жизнь пользовался покровительством законов и достиг «степеней известных».^[13]

Здесь прежде всего необходимо обратить внимание на мысль о «смелости небывалой».

«Старые годы» написаны в иной тональности, чем рассказы Мельникова о чиновниках. Там господствует иронический тон, здесь — саркастический. Большая часть мельниковских чиновников — мелкая сошка, над которой в те годы потешались и

на которую хотели свалить все беды и неурядицы даже самые закоренелые ретрограды. Мельников обличал не столько их самих, сколько бюрократическую систему в целом. Князь Заборовский как личность — тоже совершеннейшее ничтожество, но в его руках сосредоточена огромная, самостоятельная, в сущности, почти неограниченная власть. В его карьере, в его привычках и желаниях, во всей его бесчеловечно-жестокой и чудовищно-бессмысленной жизни воплотилась норма дворянского бытия — от царских палат до мелкопоместной усадьбы. Князь Алексей Юрьевич был заметной фигурой при дворе. Там он прошел великолепную школу и тирании и холуйства. В своем Заборье он просто установил обычаи и нравы, господствовавшие при дворе. Потому-то главным образом все местные дворяне в этих обычаях и не видели ничего преступного. Мелко- и среднепоместные поспешили определиться в приживальщики со всеми «приличными» этому званию преимуществами и обязанностями, а губернатор и предводитель дворянства почитали за честь быть приглашенными к княжескому столу. Для них Заборовский — образцовый барин; любой из окружающего его «шляхетства» поступал бы в точности так же, если бы имел такое богатство и такие связи. Поэтому преступления князя Заборовского не исключение; они прямое следствие того положения, которое занимали русские дворяне в обществе.

Для Мельникова самые разговоры о цивилизаторской и просветительной миссии русского дворянства были отвратительны. Заборовские могли только угнетать народ и развращать его. Стоит только вспомнить омерзительную фигуру Прокофья.

Необычайный успех «Старых годов» в демократической читательской среде свидетельствовал о том, что повесть была воспринята как злободневно-полемическое произведение, и само ее заглавие воспринималось как саркастическое. Разве в середине XIX столетия дворянская масса — от придворной камарильи до мелкопоместных обывателей — чем-нибудь существенным отличалась от Заборовских? Честь? Человеческое достоинство? Но как могут воплотиться эти свойства личности в среде, в которой богатство и власть добываются холуйством, где «высшие» безнаказанны, а «низшие» беззащитны? Знания? Культура? Но холуйство ведь приносило не в пример больший успех. Мельников отрицал все продворянские легенды.

В «Старых годах» Мельников высказал, в сущности, все, что он думал о русском дворянстве. В других его произведениях о дворянской жизни только развивались и в чем-то дополнялись

идеи, впервые высказанные в этой повести. «Бабушкины рассказы», например, — это нечто вроде варианта «Старых годов», исполненного в обычной для Мельникова иронической манере. Здесь простодушие Печерского снова вступает в свои права. Но сила обличения от этого вовсе не ослабевает.

Прасковья Петровна Печерская, хоть и не очень богатая дворянка, была, однако, своим человеком и в верхнем губернском и в придворном кругах, а ее мораль, ее взгляды на жизненные ценности ничем не отличаются от взглядов темного княжеского холопа Прокофьяча.

Есть в «Бабушкиных рассказях» как будто бы проходной, но на самом деле весьма многозначительный диалог о «бесподобном» французском короле — Людовике XVI, который всегда с таким глубоким уважением и с такой почтительностью говорил о Екатерине II и которого «туе» на эшафоте. Конечно же, Мельников смотрел на это историческое событие иначе, чем бабушка Андрея Печерского, и напомнил он о нем неспроста. Общественная борьба, развернувшаяся в те годы в России, могла, по его убеждению, привести к тем же, что и во Франции конца XVIII века, последствиям, если единомышленники бабушки будут упорствовать в защите своих привилегий.

В 50–60 годах с наибольшей силой и резкостью обнаружилась противоречивость мировоззрения Мельникова, его сильные стороны и его ограниченность. Еще задолго до 1855 года он понял эфемерность своей веры в просветительскую миссию Николая I. Но и после этого он не перестал быть мирным просветителем. Он был убежден в необходимости и неизбежности переустройства общественных порядков в России. Однако, кроме правительства, он не видел в России иной силы, которая могла бы возглавить и осуществить дело такого переустройства.

Слабость этой позиции временами ощущалась и самим Мельниковым. Крупный министерский чиновник, он хорошо знал, каково тогда было русское правительство. Самые влиятельные посты занимали коноводы крепостнической партии — все эти Орловы, Панины, Муравьевы, Долгорукие, каждый из которых, по словам Мельникова, был «пропитан помещичьим духом с ног до головы».

И снова надежды возлагались на царя. Но эти надежды были шаткими. «Темная партия сетью опутывает государя. Доброго что-то не предвещает настоящее»,^[14] — писал Мельников в своем дневнике за 1858 год. Для его тогдашних настроений чрезвычайно характерна дневниковая запись от 22 марта 1858 года: «...Встретился с Сергеем Васильевичем Шереметьевым и ходил с ним по Невскому и по Литейной более двух часов... Он, разумеется, против освобождения... Шереметьев сказал, между прочим, что еще будут перемены в этом деле, но какие, не говорил. Он в связях и родстве с великими мира сего и, конечно, говорит не без основания. Что же это будет? Народу обещали свободу, назначили срок и правила; народ ждет; везде тихо, спокойно, несравненно спокойнее, чем прежде, и вдруг, если Шереметьев правду говорит, пойдет дело в оттяжку. Таких дел

откладывать нельзя, а то, чего доброго, и за топоры примутся».^[15]

Хотя Мельников никогда не считал себя единомышленником либералов 50-60-х годов, его позиция в общественной борьбе того времени в главном и существенном совпадала с их позицией. Его сочувствие закрепощенному крестьянству было вполне искренним, но возможность освобождения народа от помещичье-чиновнического гнета «снизу», то есть силами самого народа, страшила его больше, чем козни крепостников. В период революционной ситуации 1859–1861 годов, когда возмущенные крестьяне все чаще и чаще принимались за топоры, когда борьба революционных демократов становилась все более решительной, Мельников при всей его ненависти к «помещичьему духу» оказался в лагере реакции.

Однако было бы ошибочно думать, что Мельников теперь начисто отказался от своих просветительских убеждений. Они неизбежно прорывались в его действиях и поступках. И это хорошо понимали вчерашние его противники: ревностные охранители самодержавно-крепостнического режима не могли забыть и простить рассказов и повестей Печерского и не считали Мельникова «своим человеком». Да он и сам в эти годы был далек от уверенности в правоте своей общественной позиции. Только этим и можно объяснить новое третье молчание Мельникова-беллетриста, на этот раз продолжавшееся около восьми лет (1860–1868 гг.).

В министерстве его держали подальше от дел, в которых он больше всего был осведомлен и заинтересован. Тогда он решил заняться публицистикой и в 1859 году стал издавать газету «Русский дневник». Полуофициозный характер этого издания предопределил полный его неуспех у читателей: оно перестало выходить, даже не дотянув до конца года. После закрытия «Русского дневника» он некоторое время сотрудничал в консервативной газетке «Северная пчела». На эту его «частную» журнальную деятельность министерское начальство смотрело косо. Чтобы взять «перо» Мельникова под свой полный контроль, министр внутренних дел Валуев назначил его редактором отдела внутренней жизни правительственной газеты «Северная почта». Но и на поприще официальной публицистики он продержался недолго: выяснилась непригодность Мельникова на роль послушного пересказчика «идей» и указаний Валуева. В 1866 году Мельников вышел в отставку, переселился в Москву и перешел на положение профессионального литератора.

Переехав в Москву, Мельников становится одним из ведущих сотрудников газеты «Московские ведомости», редактором-

издателем которой был М. Н. Катков — главный идеолог и присяжный публицист крайней самодержавно-крепостнической реакции. Вскоре, однако, Мельников отказался от этого, в денежном отношении весьма выгодного и необходимого для него, главы большой семьи, сотрудничества: в ногу с Катковым-политиком он идти не мог. Теперь он должен был писать прежде всего ради заработка. В 1867–1868 годах он напечатал целый ряд популярных историко-этнографических очерков о «расколе» и связанных с ним в той или иной степени религиозных сектах. Только в 1868 году он вплотную приступает к осуществлению давнего своего замысла — к писанию романа «В лесах».

Связь между двумя главнейшими произведениями Мельникова — его романами «В лесах» и «На горах» — весьма своеобразна. Каждому из них свойственна известная самостоятельность: «В лесах», например, на первом плане судьба семейства Чапуриных, а во втором романе — «На горах» — в центре повествования семья Смолокуровых. Есть различия между этими книгами и в других, может быть, менее заметных, но важных деталях и подробностях. И все-таки, сколько бы такого рода различий мы ни отметили, эта самостоятельность оказывается сугубо относительной. Ведь если читатель не знаком с книгой «На горах», то и в содержании книги «В лесах» ему будет многое неясно. Нечего уж говорить о том, что без знания романа «В лесах» роман «На горах» даже во многих сюжетных подробностях не будет понятен. В наше время два романа, так тесно связанные между собою, называют обыкновенно дилогией. «В лесах» и «На горах» — это две большие книги, или, другими словами, две сложные части одного большого произведения. В читательской памяти они так и живут — неразрывно друг от друга.

При чтении этих книг нельзя не удивляться богатству вместившегося в них жизненного материала, необъятной, кажется, широте познаний автора, порою имеющих весьма «специальный» характер. О чем только не рассказывается в этих книгах! Об изготовлении и сбыте горянщины и о хлыстовских «радениях»; о заготовке леса и о старообрядческих обычаях и верованиях — с обширнейшими экскурсами в историю и догматику «раскола»; о хлебной торговле и о монастырских и церковных нравах; о ловле и засолке рыбы, о рыбной торговле со всеми тайнами купеческого плутовства и о народных праздниках, поверьях и легендах; о прошлом и настоящем валяльного промысла и о развитии волжского судоходства; о еде... еда представлена в этом произведении, так сказать, во всех ее аспектах: кто, что, как и когда ест, как готовят и даже как заказывают еду...

И все это рассказывается с такой очевидной увлеченностью, что читатель временами готов думать, что Андрей Печерский был очень любознательный, памятливым и словоохотливый человек, и он, по-видимому, не очень заботясь о стройности всего повествования в целом, не мог удержаться, чтобы не щегольнуть какой-нибудь полезной, или редкой, или просто занятой подробностью из запасов своей памяти. Но Печерский вовсе и не

боятся такого впечатления; напротив, он как будто бы даже заинтересован, чтобы дело получило именно такой оборот. И поступал он так «с полного согласия самого Мельникова».

10 ноября 1874 года в Москве праздновалось тридцатипятилетие его литературной деятельности. В ответ на приветственные речи юбиляр сказал следующее: «Бог дал мне память, хорошую память... Что ни видишь, что ни слышишь, что ни прочтешь — все помнишь... А на роду было писано довольно-таки поездить по матушке по святой Руси. И где-то не доводилось бывать?.. И в лесах, и на горах, и в болотах, и в тундрах, и в рудниках, и на крестьянских полатах, и в тесных кельях, и в скитах, и во дворцах, всего не перечтешь... Вздумалось мне писать; ну, думаю, давай писать и стал писать «по памяти, как по грамоте», как гласит старинное присловье. Вот и все... Говорили о художественности моих литературных произведений, об их обдуманности. Да, ей-богу же, когда беру лист бумаги и пишу на нем первую строку, никогда и не знаю, о чем буду писать на последней строке той страницы».^[16]

Это признание ввело в соблазн не одного историка литературы. Если уж сам писатель говорит, что никакой он не художник и что никогда не следовал завету великого Пушкина и не «усовершенствовал плоды любимых дум», а просто писал, что помнил, то стоит ли отыскивать у него какие бы то ни было художественные идеи? Больше всего и лучше всего он помнил подробности народной жизни; стало быть, он и есть этнограф. Писатель-этнограф — этот, в сущности, ничего не определяющий, но зато удобозапоминаемый ярлык и до сих пор еще встречается в некоторых историко-литературных работах. Если повнимательней прислушаться к приведенному выше признанию, такому на первый взгляд откровенному, то окажется, что тут еще раз проявилась лукаво-ироническая «скрытность» Мельникова. «Вздумалось мне писать, ну, думаю, давай писать... да, ей-богу же...» Перед нами опять Андрей Петрович Печерский. Сам Мельников поступал совсем не так. Достаточно сказать, что прежде чем наступила эта важная минута — «давай писать», — он почти десять лет вынашивал и обдумывал замысел своего крупнейшего произведения. Но в конце концов важнее другое: разнообразие и многоцветность жизненного материала в романе, иногда кажущиеся даже чрезмерными, не только не мешают цельности впечатления, а, напротив, усиливают его. Дело в том, что буквально ни одно из бесчисленных отступлений не существует само по себе, безотносительно к судьбам его героев.

Мельников создавал «В лесах» и «На горах» в те годы, когда в

русской литературе бурно развивался социально-психологический роман, достигший в творчестве И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского своего наивысшего расцвета. Но в тогдашней литературе существовали и другие жанровые разновидности романа. Одной из них был так называемый «деловой» роман, непосредственно связанный с традицией «Мертвых душ» Гоголя. В критике тех лет типическим в этом смысле произведением считали «Тысячу душ» А. Ф. Писемского. Отличительной особенностью такого романа было то, что его персонажи действовали не только в бытовой сфере или в сфере интимных отношений, но прежде всего и преимущественно в сфере «деловой» (государственная служба, промышленные или торговые спекуляции и т. п.).

Связь романа Мельникова именно с традицией «делового» романа несомненна. Характер Смолокурова, например, был бы во многом не ясен, если бы не было отступлений хотя бы о том же рыбном промысле и о рыбной торговле. Точно так же образ Манефы не был бы столь рельефен, если бы Мельников не ввел читателя в мельчайшие подробности скитской обрядовости, «экономики» и «дипломатии». Конечно, Мельников не прошел мимо завоеваний социально-психологического романа. Многие его герои, особенно те, кому он сочувствует, — это люди сильных страстей и сложных чувств. Когда он оставляет их наедине с самими собой, он пользуется и приемами психологического анализа. Но в целом психологический анализ в стиле Мельникова — лишь вспомогательное средство выразительности. Характеры его героев определяются прежде всего в действии, которое чаще всего связано с главным делом их жизненной практики. Вот почему все эти, казалось бы, преизобильные сведения о промыслах, о купеческих плутнях, о делах «раскольников» не имеют в нашей памяти самодовлеющего значения: вспоминая о них, мы чаще всего даже незаметно для самих себя начинаем думать о судьбах людей. И это не только потому, что в литературе мы интересуемся прежде всего тем, что происходит с человеком; тут сказывается воля Мельникова-художника. По своей «скрытности» он почти никогда не высказывал своего отношения к изображаемой жизни ни в форме философских рассуждений, как это бывает у Л. Н. Толстого, ни в публицистически страстных отступлениях, как у Гоголя. В этом смысле Мельников ближе к Пушкину-прозаику. Чтобы вникнуть в существо идей Мельникова-художника, нужно присмотреться к судьбам его героев.

В этом романе очень много несчастных людей; еще больше злых и жестоких. А что касается благополучно-добродетельных, которых в романе совсем мало, то Мельников, как будто бы не зная, что с ними делать, или оттеснял их на самую дальнюю периферию действия, как Сергея Андреича Колышкина, или выносил благополучно-добродетельное существование некоторых персонажей за пределы романа. Все его внимание сосредоточено на судьбах несчастных и злых.

До конца своих дней Мельников был верен своим просветительским взглядам. Он был убежден, что люди рождаются на свет хорошими, способными к безграничному совершенствованию. И только неразумные условия жизни мешают осуществлению человеческих возможностей. Большинство главных героев «В лесах» и «На горах» — это люди от рождения неплохие. Конечно, по природным задаткам они различны; однако в ранней молодости они были похожи друг на друга непосредственностью и чистотой помыслов и чувств. Но как только наступала пора так или иначе приобщаться к «делам» так все то хорошее, что было в молодых сердцах, или с цинической жестокостью попиралось и осквернялось, или постепенно залушалось. Одни, защищая чистые мечты юности, погибали, как Настенька; другие бессильно склонялись перед мерзостями жизни; третьи под напором этих мерзостей сами старались подавить в себе порывы здоровых желаний и страстей; четвертые открыто предавались злу и пороку... Но как бы ни были различны жизненные дороги каждого человека, Мельников как подлинный художник-реалист всегда стремился отыскать главную, конечную причину тех перемен, которые происходили в судьбах его героев. И эти поиски привели его к мысли, что и к несчастьям, и к жестокости, и к пороку толкают людей одни и те же силы. На исследовании этих сил и сосредоточено почти все его внимание.

Что погубило Настеньку Чапурину?

Да, Алексею не хватило мужества, чтобы отстоять и свою и ее любовь. Но почему оно ему изменило? Он не был прирожденным трусом и соблазнительством тогда еще не успел заразиться. Его любовь к Насе — любовь с первого взгляда! — на первых порах была чистой и бескорыстной. «Зародится же на свете такая красота!». Страх и малодушие пришли после. Разве мог он подумать, что Патап Максимыч согласится отдать за него свою любимицу? Ведь Алексей был «закабаленный». Этот страх подтвердился слухами о самарском женихе-купце. И не взбреди

Папалу Максимычу блажь породниться с миллионщиком, может быть, по-другому бы сложилась участь и Насти и Алексея. Может быть, тогда и блеск золотого песка не подействовал бы на Алексея так ослепляющее. Дух стяжательства — вот кто истинный виновник гибели Настеньки. Он же, этот дух, в конце концов и в Алексея убил все человеческое.

А разве Маше Залетовой выпало бы на долю столько страданий, если бы ее отцу не втемяшилось во что бы то ни стало завести пароход и разбогатеть еще больше, разбогатеть без предела? И еще две жертвы. Евграф Масленников не мог защитить ни себя, ни своей чистой любви; он об этом и подумать не смел; он твердо знал: у кого богатство, у того и «воля» — то есть полный произвол. Он сгинул где-то, а его возлюбленной Марье Гавриловне, вынесшей все надругательства старика Масленникова, предстояло еще раз пережить и любовь и унижения. Мучитель был другой, а причина мучений та же: богатство, дух стяжательства.

Манефа и Яким Стуколов — жертвы того же божества. Матрену Чапурину, дочь богатых родителей, не захотели выдать за голяка Якима. Она подавила в себе живые человеческие чувства в скиту; а он — неудачливый стяжатель — попал на каторгу.

Отношение Мельникова к русскому купцу определилось еще в «Красильниковых». «В лесах» и «На горах» он нарисовал обширнейшую панораму буржуазного образа жизни. Если попытаться найти слово, которое наиболее полно характеризует сущность буржуазной жизни, как ее представлял Мельников, то самым подходящим окажется слово преступление. В своем романе он не говорит о бережливости и трудолюбии первоначальников миллионных состояний. И не случайно. Хвалители буржуазии именно эти качества объявляли основой могущества капитала. Мельников на всем пространстве романа — особенно во второй его части, «На горах», — настойчиво проводит мысль, что это могущество замешено на преступлении. Поташовские, смолокуровские миллионы, самоквасовские и доронинские богатства были добыты грабежом в буквальном смысле слова. Всякий, кто лишь прикоснется к миру стяжательства и барыша, неизбежно втягивается в преступление. В этом смысле характерна фигура Марка Смолокурова.

Сам он грабежом на большой дороге не занимался. Да, по-видимому, и не был предрасположен к этому. В молодости ему были доступны чистые человеческие чувства. Когда случилось несчастье с Мокеем, Марк был искренне опечален; он долго и упорно, не жалея денег, разыскивал его. Он преданно любил свою

жену и глубоко страдал после ее смерти. Всю свою жизнь посвятил он потом воспитанию дочери Дуни, в которой души не чаял. Но его «дело» без преступлений вести было невозможно. Грубый обман, насилие, подкупы, убийства — все это неизбежные спутники выгодных «законных» торговых оборотов. И опустела его душа, очерствело и ожесточилось сердце. Теперь Мокей прежде всего — претендент на долю в капитале. Теперь Марк Смолокуров — раб своих миллионов и преступник. Предсмертное его свидание с Корнеем Прожженным достойно завершает всю его преступную жизнь.

Нажива и добродетель — антиподы. Ведь Гаврила Залетов был добрый и честный человек — это Мельников подчеркивает особенно настойчиво, — но жажда барыша заставила его продать родную дочь. А Патап Максимыч Чапурин? Добрый, широкой души человек, нежно любящий отец, он гнет под свою лапу всех. И все во имя того же божества — богатства и наживы. В угоду этому божеству он загубил и Настеньку.

Судьба Чапурина — это не только судьба человека, доброта которого затемнена и обесмыслена стяжательством; это также и судьба деятельной и неэгоистичной личности в буржуазном обществе. Вчерашний мужик, Патап Максимыч очень скромен в своих личных потребностях. Конечно, дом его один из лучших в Заволжье. Но только по мужицким масштабам и вкусам. Чапурин задает обильные «пиры», но и это больше все из того же наивного — мужицкого еще — тщеславия. Знаменитый «купецкий» разгул ему чужд, и в этом смысле деньги для него не соблазнительны. Богатство он больше всего ценит за то, что оно дает ему «почет и уважение». Но влияние и власть ему нужны не только для того, чтобы потешать свое славолубие. В нем жила постоянная мечта о деятельности в масштабах всей России; о такой деятельности, которая приносила бы благо всей стране. За такие большие дела, мечтал Чапурин, не грех было бы принять и благодарность русских людей.

Иногда считают, что Мельников, живописуя благородно-деятельные качества своего героя, хотел внушить читателю мысль о великой созидательной, цивилизаторской роли русской буржуазии и, стало быть, о благодетельности всего буржуазного образа жизни. На самом деле это не так. Всем своим романом Мельников спорил с тогдашними апологетами буржуазии.

Два раза Патапу Максимычу казалось, что он близок к осуществлению своей большой мечты. И оба случая только наглядно обнаружили ее наивность. Ветлужское золото оказалось фальшивым, и Чапурин закаялся иметь дело с «золотым песочком». Мельников разъясняет, что золотопромышленничество

было неразлучно с преступлением. Патап Максимыч котел завести «дела» на горах, развить там выгодную для народа промышленность. Это была несбыточная мечта о «народном капитализме».

В критике 80-90-х годов высказывалось мнение, будто бы роман «На горах» ничего не прибавляет к первому роману — «В лесах». Разве что некоторые новые этнографические подробности. Эта ошибочная мысль порождена непониманием самой сущности романа Мельникова как романа **антибуржуазного**.

Патап Максимыч — это купец еще патриархальной складки. Он связан с кустарной промышленностью и ее же хотел бы расширить и совершенствовать. В романе «На горах» даны картины «деятельности» купцов нового типа, таких, которые пользуются уже новейшими средствами обогащения: составляют дутовые акционерные компании, пишут необеспеченные векселя, объявляют мнимые банкротства. Чапурин для такого рода «операции» был явно не пригоден. Стоит только вспомнить правобережных воротил, чтобы понять, насколько была наивна его мечта о роли народного «благодетеля»; конечно, Орошины, Смолокуровы и им подобные с их миллионами не позволяли бы Патапу Максимычу — всего лишь тысячнику — и шагу ступить: они были заинтересованы в нищете народа. Нет, говорил Мельников читателю своего времени, не Чапуриным суждено быть первыми фигурами в купечестве. Патап Максимыч, в сущности, — еще одна жертва жестокого божества. Гоняясь за богатством, он и не заметил, как ушло из его жизни все, что он горячо любил. В финале романа это одинокий человек, без семьи, без большой мечты и без будущего; действует он теперь как бы по инерции.

Но, может быть, неудачи Патапа Максимыча от его патриархальной «неотесанности»; может быть, молодые образованные купцы, вроде Никиты Меркулова или Дмитрия Веденеева, великолепно знающие все ухватки новых дельцов, вытеснят Орошиных и облагородят купеческие нравы? Повидимому, такого рода предположения Мельникову-просветителю были не совсем чужды. Но как это осуществится, он не мог себе представить. Потому-то и фигуры этих купчиков так бледны и невыразительны. Беглый рассказ о том, как Меркулов с Веденеевым «честно» взяли большой барыш, чем Орошин, малоубедителен. Он доказывает только одно: «молодые» постепенно втягиваются в борьбу, которая в конце концов заставит их действовать так же, как и Орошины, потому что эти последние не исключение, а правило. Тут еще раз сказалась та закономерность, что реалистическое творчество неизбежно

подтачивает всякие иллюзии, в том числе и просветительские.

Когда-то Корнила Красильников хвалил иностранных купцов за их основательность и добросовестность, и Мельников не спорил с ним. Теперь, через двадцать с лишним лет, Мельников убедился, что и европейские буржуа не лучше русских купцов. «Распервейшие мошенники», — говорит о тамошних дельцах Дмитрий Веденеев, побывавший за границей: «Ладят с тобой дело, так спереди целуют, а сзади царапают». Дух барыша и предпринимательства не может ужиться с принципами истинного просвещения, потому что божество просвещения — разум — слишком щепетильно и непреклонно в вопросах чести, человеческого достоинства и справедливости. Русский купец облюбовал себе старообрядческого бога, на этот счет более покладистого.

О старообрядчестве в романе Мельникова говорится больше всего. Поначалу даже складывается впечатление, будто это главная его тема. Если взять богато разветвленный сюжет романа, то окажется, что почти все персонажи и события так или иначе соотнесены со старообрядческими делами, в особенности с судьбой Манефиной обители. «Раскольническими» делами определяется и само «романное» время: действие начинается в 1846–1847 годах, вскоре после основания «австрийской», то есть Белокриницкой, старообрядческой митрополии, а кончается в 1853–1854 годах, после разрушения Керженских скитов. Естественно предположить, что Мельников высказал здесь все, что он думал о «расколе» в последние годы своей жизни. Каковы же итоги его почти сорокалетних разысканий и размышлений?

В 1855 году своим «Отчетом о современном состоянии раскола...» он нажил себе врагов не только в высших бюрократических сферах, но и в кругу князей официальной православной церкви. С тех пор они при всяком удобном случае порочили Мельникова, стараясь прежде всего заподозрить искренность его мнений о «расколе». С этой целью ими был пущен слух, будто Мельников как-то «внезапно» превратился из гонителя старообрядчества в его защитника. На самом деле после 1856 года Мельников не один раз выступал против подавления «раскола» административными мерами. Но это объяснялось не какой-то «внезапной» переменой в его отношении к старообрядчеству, а изменением политической обстановки в стране: после 1856 года возможность легализации «раскола» стала более вероятной. Однако он предлагал смягчить отношение властей к старообрядчеству не для того, чтобы увековечить его.

Мельников-просветитель не понимал исторической закономерности возникновения «раскола» как своеобразнейшего отражения борьбы различных социальных сил XVII столетия: с одной стороны, сопротивления верхушки боярства (Хованские, Морозовы, Урусовы) централизаторской политике царя Алексея Михайловича, а с другой — протеста широких народных масс против феодального гнета и засилья официальной церкви. Не сумел он увидеть и того, что в старообрядческой «закоренелости» низов и в XIX столетии отражались не только их антицерковные, но и антиправительственные настроения. Именно поэтому революционные демократы и Герцен осуждали позицию Мельникова в вопросах «раскола».

Мельников и после 1856 года продолжал считать «раскол»

следствием укоренившейся темноты и дикости. «Не надобно забывать, — писал он в одном из официальных документов тех лет, — что раскол, собственно так называемый, то есть поповщина и беспоповщина, есть порождение грубости и невежества, и что он должен со временем уничтожиться, когда просвещение проникнет в низшие слои народа. Перед светом общечеловеческого образования не устоять расколу, если не будут воздвигаться на него новые преследования и новые гонения».[17]

Крайняя темнота, по мысли Мельникова, не позволяла созреть в старообрядческой массе элементам социального протеста. Зато она, эта темнота, давала купцам обширнейшие возможности наживаться. И в этом им помогала старообрядческая верхушка. Потому-то они и раскошеливались всякий раз, когда надо было поддержать «раскольническую» иерархию и в особенности скиты. Патап Максимыч Чапурин — один из влиятельнейших «столпов» старообрядчества, — когда пошли споры, принимать или не принимать епископа «австрийского» посвящения, без обиняков отрезал: «Все мои покупатели ему последуют. Не ссориться с ними из-за таких пустяков...». Манефа — влиятельная игуменья, славившаяся чуть ли не «святой» жизнью, — высказывает эту мысль еще более отчетливо: «Разориться Патапушка может, коль не примет нового священства. Никто дел не захочет вести с ним; кредиту не будет, разорвется с покупателями». Это и предопределило отношение Манефы к ставленникам Белокриницкой митрополии. Догматы можно было толковать и так и этак, а благополучие обитателей зависело прежде всего от заступничества купцов и от их «безгрешных» приношений. Таким образом, тема жизни в скитах, развитая в романе с такой щедрой обстоятельностью, сливалась с его антибуржуазной темой.

Еще в «Пояркове» Мельников нарисовал несколько выразительных сцен из жизни инокинь и белиц. Но там она задета как бы мимоходом. К тому же читатель смотрит на нее глазами прохвоста-чиновника, которому как-то не хочется верить, хотя он и говорит о скитах голую правду. «В лесах» и «На горах» нравы обитательниц и обитателей скитов исследованы всесторонне. В романе с неотразимой убедительностью показано, что в скитах нет нравственной чистоты. Да она и немыслима там, где люди живут бездельной, паразитической, противоестественно изолированной от мира жизнью. Ложь, лицемерие, тайный разврат, обжорство, холуйство одних и надменность других — нет, кажется, ни одного порока, который не гнезвился бы под

островерхими крышами скитов, как мужских, так и женских. И все это с именем бога на устах.

Среди приверженцев «древлего благочестия» — ни в скитах, ни в «миру» — Мельников не нашел, в сущности, ни одного человека, который искренне верил бы в бога и вполне осознанно, «от души» следовал бы слову «священного писания». А он искал таких людей многие годы. В рассказе «Гриша» как будто бы есть настоящие «верующие» — сам Гриша и его покровительница Евпраксия Михайловна Гусятникова. Но Гриша в своих поисках «истинной веры» дошел по полного иступления, граничащего с умопомешательством. А Евпраксия Михайловна, узнав о пропаже сундука с капиталами, умерла в одночасье. Мельников предоставлял самому читателю решить вопрос, какому богу она больше поклонялась: которому денно и мощно по всем правилам «древлего благочестия» воссылала молитвы или тому, который хранился в сундуке — и хранился-то, кстати, в моленной! В романе он продолжил эти поиски людей «праведной» жизни, но и тут без успеха.

Оказалось, происшедшее с Гришей не случай, а нечто вроде закономерности. Герасим Силыч Чубалов с таким же упорством искал «истинную веру»: перечитал горы книг, перебивал почти во всех старообрядческих «согласиях» и сектах и в конце концов пришел к мысли, что «нет, видно, больше истинной веры». Он ожесточился, стал человеконенавистником и... стяжателем. Только жалость к бедствующему родному брату и его нищим детям пробудила в нем человека. Но после этого Мельников, как бы за недосугом, почти ничего не сказал, насколько искренним было обращение Герасима Силыча к официальной православной церкви.

Дуня Смолокурова тоже искала свет «истинной веры». С самого раннего детства ее окружали скитницы и канонницы, а растила и лелеяла убитая безысходным горем темная староверка Дарья Сергеевна. Но детским своим сердцем чуяла Дуня, что люди — и прежде всего ее родной отец — в делах своих поступают не по «слову божьему». От старообрядческих скитов и молелен дошла она до хлыстовских радений. Что помогло ей освободиться из трясины хлыстовской обезличивающей мистики, от корыстного шантажа «божьих людей»? «Слово божье»? Нет. Здоровое чувство отвращения и брезгливости отшатнуло ее от иступленного изуверства, от безобразного разврата во славу господ бога. И опять Мельникову было как будто бы уже некогда рассказать, какова была Дунина вера в бога православной церкви.

Обе эти истории проникнуты одной мыслью: «взыскующие града» неизбежно подавляют в себе все человеческое, утрачивают

собственную личность. Старообрядческий и сектантский бог с его жестоким, аскетически иссушенным ликом неотвратимо враждебен всему, что несет человеку живые радости и счастье. В этом смысле особенно поучительна судьба Манефы. Горькое несчастье пригнало Матрену Чапурину в обитель «невест христовых». Обида на людей, лишивших ее счастья, темный страх наказания божьего, внушенный скитницами, рассчитывавшими поживиться подачками ее богатого отца, заставили Матрену стать инокиней Манефой. Должно быть, она искренне верила в старообрядческого бога. Но к чему привела ее эта вера? Даже успокоения не дала она ей. Крайним напряжением незаурядной воли своей Манефа заставила себя забыть «мирские» радости. Только при внезапной встрече с Якимом в доме Патапа Максимыча дрогнуло ее измученное, очерстневшее сердце, дрогнуло и замерло — теперь уже навсегда. Не любовь к людям жила в ее душе, а еле прикрытое презрение и ненависть ко всему, что за оградой скита, что не способствует упрочению «древлего благочестия». С неколебимым самообладанием «началит» она Петю Самоквасова за то, что тот пожертвовал сто рублей на детский приют.

«Сиротки ведь они, матушка, пить и есть тоже хотят, одним подаянием только и живут, — промолвил на то Петр Степаныч.

— То прежде всего помни, что они — никониане, что от них благодать отнята... Разве ты ихнего стада? Свою крышу, друг мой, чини, а сквозь чужую тебя не замочит...»

Единственное существо, напоминавшее ей ее молодость и «мирскую» жизнь, — родную дочь Фленушку — принесла Манефа в жертву своему жестокому богу. И сделала она это не потому, что верила в «святость» иноческой жизни. Она боялась за Фленушку: «мирские» люди, по ее убеждению, были способны только на зло; но и скитниц она боялась не меньше, потому-то и хотела она, чтобы еще при ее жизни Фленушка стала игуменьей.

Судьба Фленушки — это самое тяжкое обвинение против всех старообрядческих обычаев и нравов. В изображении Мельникова Фленушка — воплощенная полнота и прелесть жизни. Умная, независимая, женственная, она заражала жизнерадостностью и весельем всех, с кем встречалась, желала людям счастья и сама рвалась к нему. Но она родилась и выросла в скиту. Инокини и белицы, видя, как игуменья во всем потакает Фленушке, заискивали перед ней; общая «любимица», она делала, что хотела, и это постепенно приучило ее к своеволию. Фленушка уже не представляла себе, как она сможет укротить свой нрав. Тут одна из причин того, почему она боялась выйти замуж за Петю Самоквасова: «...любви такой девки, как я, тебе не снести». Всем

этим и воспользовалась Манефа, чтобы подавить волю дочери. Долго не покорялась Фленушка, но в конце концов «анафемская жизнь», как называла она скитское существование, сломила ее. Мельников провожал свою любимую героиню на иночество, как на смерть.

Когда над Фленушкой совершали обряд пострига, ее возлюбленный бродил по кладбищу. Но вот до него донеслись слова молитвы: «Воистину суета всяческая! Житие бо се — сон и сень, и все мятется всяк земнородный...»

— О, будь вы прокляты! — воскликнул Петр Степаныч.

И Мельников не осудил своего героя, которому он явно сочувствовал. Что это значит? Прокляв и эти слова, и заключенный в них смысл, и тех, кто их возглашал, Петя, по существу, проклял не только старообрядческую «философию» жизни; те же слова и в том же значении пели и в православной церкви: в них один из главных догматов всего христианства. Как мог Мельников пройти мимо такого «богохульства»? Ведь он, по-видимому, был «верующий». Свидетельства многих современников говорят о том, что по всем признакам Мельникова можно было считать религиозным человеком. Но есть свидетельства и другого свойства. Сын писателя Андрей Павлович Мельников в своих воспоминаниях рассказывает, что, получив известие о смерти отца, он зашел сообщить эту печальную весть его ближайшему другу, знаменитому востоковеду, профессору Петербургского университета В. П. Васильеву. «Васильев, выслушав меня, занес было руку перекреститься, но только отмахнулся, сказав: «Ведь мы с покойником чужды были религиозных предрассудков».^[18]

Эти слова были неожиданны даже для родного сына писателя; в своих воспоминаниях он пытался опровергнуть показание В. П. Васильева, сообщив, что в кабинете П. И. Мельникова были иконы и что он ходил в церковь, хотя не часто. Однако то, о чем В. П. Васильев, знавший автора «В лесах» и «На горах» с гимназических лет, сказал так категорически, подозревали и другие современники писателя, в частности церковники. Но самое убедительное подтверждение слов В. П. Васильева в содержании романа.

В своих трудах о «расколе» Мельников всегда настойчиво и убедительно доказывал, что старообрядческие низы, народ в собственном смысле этого слова, упорствуют в своем заблуждении, между прочим, и потому, что служители официальной православной церкви — попы и монахи различных рангов — все сплошь пьяницы, развратники, святокупцы,

стяжатели и т. п. Эта же мысль проведена и в романе. Нельзя забывать, что тема церковной жизни для беллетриста была запретной — ведь такого рода книги читали и «непосвященные»! Поэтому в первых частях романа Мельников был осторожен и касался состояния церковных дел лишь слегка. Тут он вывел только православного попа Родиона Сушилу, который занимался главным образом тем, что вымогал со старообрядцев поборы да писал доносы на тех, кто упрямился. Но в частях романа, объединенных общим названием «На горах», Мельников, ободренный необычайным успехом первой книги — «В лесах», стал действовать смелее.

С почти неприкрытым негодованием рисовал он картины жизни в православных монастырях. При чтении страниц, на которых описываются подвиги настоятелей Миршенского монастыря: «преподобного отца» Вассиана, грабившего и истязавшего крепостных крестьян, его преемника «честного отца» Варлаама — развратника и пьяницу; Нифонта, который в пьяном разгуле спалил село и сам сгорел, спасая от огня туго набитую кубышку, — нельзя не удивляться, как такие страницы были пропущены цензурой. Объяснить это можно только влиянием издателя «Русского вестника» М. Н. Каткова, которому цензоры, в том числе и духовные, доверяли больше, чем самим себе, и которому успех романа Мельникова приносил немалые барыши. Но и Катков в конце концов стал подозревать «недоброе». Его помощник Любимов, конечно, с ведома патрона, писал Мельникову: «Обратите, добрейший Павел Иванович, внимание на одно обстоятельство. Выводятся две стороны: все хлысты описываются добродетельными людьми с возвышенными помыслами, а православное духовенство — пьяница на пьянице, вор на воре. Выводилась бы одна сторона — не беда. А то очень резко сравнение. Поуменьшите водочки и мошеничества у православных пастырей, игуменов и архиереев».^[19]

Конечно, Любимов только для вящей убедительности своего пожелания говорил, будто в романе возвеличены хлысты. Но главное он заметил верно: правды о служителях официальной православной церкви Мельников не утаил.

Но антицерковная направленность романа сказалась не только в резко обличительном изображении православных пастырей. «Раскольническая» догматика отличалась от догматики официального православия главным образом формальными особенностями. Существо же и той и другой было едино. И Мельников в своем романе обращал внимание не на форму, а на сущность. Над проповедью аскетизма Мельников смеялся в связи

с картинами «раскольнического» быта. Но ведь идея аскетизма лежит в основе всей христианской морали. Когда Мельников развивал мысль о противоестественности скитской «анафемской» жизни, то ведь это выражало и его отношение к жизни в православных монастырях, потому что существование и скитов и монастырей основано на одних и тех же началах христианской религии. В романе высмеиваются толстосумы-старообрядцы, отваливавшие скитам богатые дары, чтобы там замаливали их грехи. А разве купцы-никониане действовали иначе и разве официальная церковь гнушалась такого рода приношениями? Страдавшие зубной болью старообрядцы, чтобы исцелиться, грызли Ионину ель. Но ведь и православная церковь всячески поощряла веру в подобные «исцеления».

Примеры таких ударов по двум целям в романе неисчерпаемы. А вернее, это были удары не по двум, а по одной, но очень крупной цели. В старообрядчестве и сектантстве всех мастей Мельников обличал не «отступления» от главных начал «святой, равноапостольной» православной церкви. Вся логика развития религиозной темы в романе подчинена одной мысли: «раскольники» и сектанты довели абсурдность христианской догматики до крайнего выражения. И служители официальной церкви преследовали тех и других не как «отступников» от «истинной веры» (сами эти служители в большинстве своем были глубоко равнодушны к ней), а как соперников в оболванивании народа.

Вот когда Андрей Печерский сослужил Мельникову самую большую службу. Досужий рассказчик Печерский «в простоте душевной» как будто бы и не замечал этих ядовитых, опасных для официальной церкви соответствий. Во всяком случае, он не старался каким-нибудь особым способом привлечь к ним внимание читателя, разъяснить ему их значение; писал себе «по памяти, как по грамоте», — и все! Но необходимо иметь в виду, что тогдашний читатель и не нуждался в подобного рода разъяснениях. В те времена каждый грамотный человек просто не мог не знать по крайней мере основных догматов христианской религии: «закону божьему» обучали во всех школах — от начальной церковноприходской до гимназий и университетов. И Мельников не ошибся в расчетах.

Демократический читатель 70-х годов сразу понял и принял его роман. А охранители устоев самодержавно-монархического строя хоть и поздно, но в конце концов догадались, какова подлинная тенденция этого произведения. Каждая новая глава книги «На горах» все больше убеждала издателя «Русского вестника» в антицерковной направленности всего романа.

Ссылаясь на требования цензуры, Катков выбрасывал из рукописи целые эпизоды и даже главы. Мельников протестовал, даже намеревался прекратить печатание романа в «Русском вестнике». Однако желание завершить публикацию основного своего произведения на страницах одного журнала заставило его пойти на какие-то уступки. Именно такого рода уступкой являются те несколько фраз, в которых говорится, что «истина» на стороне официальной церкви. Но эти дежурные, сказанные «под занавес» и не подкрепленные художественной тканью фразы не могли исказить главный смысл романа как произведения антицерковного, а точнее и шире — произведения, возбуждающего отвращение от всякой религиозности.

Совсем недавно про Мельникова было сказано так: «Какой материал, какие стороны жизни должны быть охвачены в его романе, писателю было ясно, но как развяжется та или другая сюжетная ситуация, какие возникнут конфликты насколько широко разовьется действие и чем завершится роман он не представлял себе, да это и не имело для него существенного значения».^[20]

Конечно, «даль свободного романа» — да еще такого масштабного — нельзя было заранее ясно «различать» во всех подробностях. Но, не составив предварительного представления о конфликтах, которые должны образовать основу будущего произведения, нельзя было приступить к работе над ним, потому что художник, если он действительно художник, а не протоколист, осознает жизнь прежде всего в порождаемых ею конфликтах.

Когда речь заходит об основном конфликте романа Мельникова, необходимо иметь в виду следующее. Действие романа происходит в конце 40-х — начале 50-х годов, когда внимание всего русского общества было приковано к отношениям крепостного крестьянства и помещиков. А ни в одной из частей произведения о крепостном праве почти и не упоминается. Однако это вовсе не говорило об ослаблении ненависти Мельникова к «помещичьему духу». Дело в том, что тема романа (в литературе чаще всего именно так и бывает) определена не временем действия, а временем написания. Мельников-беллетрист еще за десять лет до отмены крепостного права обратил внимание на нового «господина». В «Старых годах» он уже отметил: владения князей Заборовских переходят в руки Кирдяпиных, наследников бывшего кабацкого подносчика. Но в предреформенную пору Мельникову еще, по-видимому, было неясно, насколько быстро новый «господин» займет место старого. Это еще одна причина — и едва ли не главная, — задержавшая работу над романом на целых десять лет: к 1868 году первенствующее положение русской буржуазии в экономической жизни страны обозначилось вполне определенно.

В 70-е годы это общественное явление стало одной из центральных тем передовой русской литературы. «Современники» Некрасова, «Бешеные деньги», «Волки и овцы» Островского, «Благонамеренные речи» и «Убежище Монрепо» Салтыкова-Щедрина, «Подросток» Достоевского, «Мещане» Писемского —

вот далеко не полный перечень крупнейших произведений, посвященных в те годы приходу «чумазого», как назвал русского буржуя Щедрин. В этом ряду и книга Мельникова. Он не ограничивается изображением нравственной физиономии «чумазого», а стремится выяснить влияние новой общественной силы на жизнь народа.

В финале романа есть такой эпизод. На супрядках у Акулины Мионовны заговорили о приданом Дуни Смолокуровой, которого, по слухам, было не на одну сотню тысяч.

«— Сто тысяч! — воскликнула Акулина. — Вот где деньги-то! У купцов да у бояр, а мы с голоду помирай! Им тысячи — плевое дело, а мы над каждой копейкой трясись да всю жизнь майся. А ведь, кажись, такие же бы люди.

— А всего-то, говорят, богатства ей после отца досталось больше миллиона...

— Господи владыко! — на всю избу вскрикнула Мионовна. — Да что же это такое? Ни на что не похоже! У одной девки такое богатство, а другие с голоду колей! Начальство-то чего глядит?»

В литературе тех лет не часто звучали такие слова. Правда, Печерский постарался приглушить впечатление: многозначительные реплики произнесла баба, слишком уж разбитная; ниоткуда не видно, как она «мается». Но ведь и говорит-то она не только от собственного имени. Не случайно попробовала было одна гостья спорить с ней, да и та, не получив поддержки, замолкла. А сам Мельников? Он, разумеется, не мог забыть, что смолокуровские миллионы — награбленные. В романе о них рассказывается так, что у читателя того времени поневоле возникал вопрос: «начальство-то чего глядит?» Таким образом, одни и те же слова получают двойное освещение. Мельников как бы поправляет «забывчивого» Печерского. Это особенно важно иметь в виду для того, чтобы понять, как освещается в романе подлинное положение народа.

Печерский, рассказывая о жизни заволжан «вообще», с упоением расписывал их «достатки»: и ходят-то они не в лаптях, а в сапогах; и дома-то у них большие под тесовой, а то и под железной крышей; и лапшевниками-то они лакомятся, и убоина на столе у них бывает. Но потом, когда речь заходит о конкретных событиях и людях, он, по-видимому, забыв о рассказах «вообще», сообщает такие подробности, которые почти целиком заслоняют «общие» идиллические картинки. Оказывается, что деловые отношения «благоденствующих» заволжан-горянщиков с Чапуриным — это просто-напросто кабала: «благополучных» заволжан-лесников промышленники

обсчитывают и обманывают совершенно безнаказанно. А положение тех, кто жил «на горах», то есть по правому берегу Оки и Волги, Печерский не отваживался хвалить даже «вообще». Достаточно вспомнить семью Абрама Чубалова, чтобы представить себе, какая бедность царила среди тамошних жителей, работавших на Смолокурова и ему подобных.

Подлинные, неискоренимо глубокие противоречия были не между старообрядцами и «никонианами», а между купцом и мужиком, независимо от того, к какой церкви они принадлежали.

Мельников одним из первых русских писателей запечатлел попытки сопротивления купеческому грабежу. Бунт на смолокуровских баржах в этом смысле весьма знаменателен. Но власти и законы были на стороне Смолокуровых, а бунтари слишком неорганизованны и разобщены. Более устойчивыми, по мнению Мельникова, были артели, собиравшиеся из мужиков одной деревни. Тут еще действовала традиционная общинная мораль. Разумеется, и такие артели не могли противостоять напору «чумазого». Слишком много было в них патриархальной инертности и бестолковости. Но здесь еще сохранялись чистые народные нравы. В артели лесников, с которой встретился Чапурин, были народные умники вроде Петряйки или Онуфрия. Дядя Онуфрий — «хозяин» артели лесников — фигура в этом смысле весьма характерная. По уму он не только не уступает Патапу Максимычу, но и превосходит его. Однако его ум с народом; этого народного мудреца за рубль не купишь. Дядя Онуфрий — это носитель народной морали. И насколько его взгляды на мир свободнее и шире, чем взгляды Чапурина и особенно Стукалова! Он совершенно чужд религиозной исключительности; а к церкви относится несколько даже иронически: «Ведь повадишься к вечерне, все едино, что в харчевню; ноне свеча, завтра свеча — глядишь, ан шуба с плеча».

Мельников был убежден, что религиозность старообрядцев из народа также была в значительной степени внешней «...Наши мужики за ведро вина и Христа и веру продадут, а скиты на придачу дадут», — призналась однажды Манефа. Сердитая на всех «мирских», она явно сгустила краски, но в ее раздраженных словах была значительная доля правды. Мужик-старообрядец великолепно знал, какова «святость» жизни попов и скитниц; как и мужик-«никонианин», он смеялся над лицемерием и развратом тех, у кого должен был научиться «слову божью».

Мысль о превосходстве народной морали над моралью господствовавших верхов пронизывает весь роман Мельникова от начала до конца. Она проявляется не только в том, что среди купечества и «священства» не было людей такой нравственной

чистоты, как Трифон Лохматый, или тетка Егориха, или жена Абрама Чубалова — Пелагея Филиппевна. «Мысль народная», если воспользоваться этим выражением Толстого, воплотилась в романе и в другой форме: все, что в людях, принадлежавших к верхам, сохранялось хорошего, чистого, поэтичного, — все это шло от народа. Не случайно, когда Мельников писал об этих свойствах, в его повествование естественно вливалась народная песня. Под ее аккомпанемент, то ликующий, то печальный, вспыхнула и оборвалась любовь Насти Чапуриной; в народной песне выпевала Фленушка мечту о счастье и оплакивала свою горькую участь. Особенно выразительны в этом отношении перемены, происшедшие в характере Алексея: чистая любовь к Насте рождала в его душе песню, но, как только корысть овладела душой, песня навсегда покинула его, речь его стала приказчицки-развязной и косноязычной. Даже внешнюю красоту своих героев Мельников рисует в стиле народной песни.

Есть в романе добрый земной бог — Ярило, Яр-Хмель. Он возбуждает в людях жажду счастья и радости. Он заботится о том, чтобы люди любили друг друга, рожали и растили детей, чтобы в жизни никогда не останавливался этот круговорот любви и счастья. Память об этом боге жила в народе. Поэзия этого народного мифа близка и дорога Мельникову. Его жизненный идеал чужд всякой мистики: «Человек человеческим живет, пока душа из тела не вынута». И опять: тема Ярилы неразлучна с народной песней.

В песне, по представлению Мельникова, ярче всего блистало одно из самых драгоценных достояний народа — могучая русская речь. Она вызывала в нем безграничное восхищение и гордость. Всю свою жизнь Мельников неустанно изучал, бережно отбирал и хранил золотую россыпь народного слова, вслушивался и вживался в строй народной речи. И все эти огромные богатства он щедрой рукой мастера возвратил народу. Правда, временами ему изменяло чувство меры, и тогда элементы народного творчества в романе приобретали черты цитатности и художественной недоработанности. Но на большей части его повествования народно-песенная стихия звучит совершенно естественно и непринужденно. Недаром язык Мельникова-художника так высоко ценил Горький.

* * *

Романом «На горах» завершилась литературная деятельность Мельникова. Он дописывал его, преодолевая приступы

неизлечимой болезни. В 1881 году Мельников возвратился на постоянное жительство в родной Нижний Новгород; там он и умер — 1 февраля (ст. стиля) 1883 года.

Русская литература на протяжении всего XIX столетия неотступно созидала великий эпос народной жизни. Гоголь и Кольцов, Тургенев и Некрасов, Писемский и Никитин, Салтыков-Щедрин и Лесков, Глеб Успенский и Короленко, Толстой и Чехов — каждый из них внес в этот эпос свое в высшей степени своеобразное, нисколько не нарушая, однако, его внутренней цельности, потому что в его основе, как и в основе творчества любого из этих писателей, лежал один, утвержденный Пушкиным принцип «Что развивается в трагедии? — писал он, — какая цель ее? Человек и народ — Судьба человеческая, судьба народная».^[21]

Вряд ли нужно говорить о том, что ко всей литературе этот принцип имеет более непосредственное отношение, чем к трагедии. И прежде всего, конечно, к русской литературе. Возможны ведь иные соотношения человек и природа, человек и вселенная, человек и вечность и т. п. Все они волновали и русскую литературу XIX века, но на первом месте стояло это: человек и народ.

Все, что создал Мельников-художник — и в особенности его эпическая диалогия «В лесах» и «На горах», — в этом великом русском эпосе не затерялось, не потускнело во времени. Исторические обстоятельства изменяются, но отношение человек и народ никогда не перестанет волновать людей.

Note1

П. Усов. Павел Иванович Мельников, его жизнь и литературная деятельность. В кн. Полн. собр. соч. П. И. Мельникова (Андрея Печерского), изд. М. О. Вольфа, т. I, СПб. 1897, стр. 26–27. В дальнейшем ссылки на эту книгу даются сокращенно: П. Усов и соответствующая страница.

Note2

П. Усов, стр. 57–58.

Note3

А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 томах, т. VII. М. 1956, стр. 214–215.

Note4

П.Усов, стр. 72–73.

Note5

Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Сборник, том IX. В память П. И. Мельникова (Андрея Печерского), Нижний Новгород, 1910, с. 136. В дальнейшем все ссылки на это издание даются сокращенно: Сборник и соответствующая страница.

Note6

В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. I, М., 1953, стр. 84.

Сборник, т. IX, стр. 121–122.

Note8

Сборник, т. IX, стр. 80–81.

Note9

Сборник, Т. IX, стр. 22.

Note10

А. И. Герцен, т. VII, стр. 208.

Note11

П. Усов, стр. 104–105.

Note12

П. Усов, стр. 188.

Note13

Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. X, М., 1952, стр. 355.

Note14

П. Усов, стр. 187.

Note15

П. Усов, стр. 182–183.

Note16

П. Усов, стр. 276.

Note17

П. Усов, стр. 222.

Note18

Сборник, т. IX, стр. 65.

Note19

П. Усов, стр. 304–305.

Note20

История русской литературы, т. IX, ч. II, М.-Л. 1956, стр. 210–211.

Note21

Пушкин. Полн. собр. соч., Изд-во АН СССР, т. XI, М.-Л., 1949, с. 419.